

апокриф

а п о

слава гозиас

слава гозиас

апокриф

а п о к р и ф а п о к р и ф

апокриф

слава гознас

апокриф

Сборник прозы

«Геликон Плюс»
Санкт-Петербург
2010

Гозиас С.

Апокриф: Рассказы, повесть. — Санкт-Петербург, «Геликон Плюс», 2010. — 196 с.

ISBN 978-5-93682-625-2

© Гозиас С., текст, 2010

© «Геликон Плюс», оформление, 2010

ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИН

(рассказ Юрия Зятюшкова)

«Возьми себя в руки! Возьми себя в руки!» Вззс, вззс... Что ты взъелась на меня?! Кусить хочешь? Так и скажи, я поддамся — кусателей кормить надо... Думаешь, не надо? А-а-а, опять на ногах не стоишь, опять нажрался... Это уже не вззс, а опжр-р-р, прямо грозное рычание возмущенной головы. Сдаюсь, сдаюсь, душа моя, не бушуй. И разреши мне — «опять», слово-то на грибы похоже — на опята в значении повторяющихся действий. Люблю опят... то есть опять — опять люблю, значит, повторяюсь, и это нормально. Человек перестает повторяться после смерти. Согласна? Нет. Конечно, нет. И напрасно, мой свет. Я тебе затеняю? Что я могу затенять, я ж почти прозрачный?! И все же логично: если ты — свет, то мне остается быть тенью — для неразрывности, потому что тень нельзя отделять от предмета, развал получится...

Болтовня? Возможно, однако не исключено нервное набалтывание. Процесс сложный и вынужденный. Кто набалтывает? Болтун. Или болтатель. Но чаще всего набалтывает автор, потому что у него ноги в путах, ему шагу не сделать, а душа просит двигаться. Нет, не анализ... Если честно, это подлизывание, и твои любимые звуки звучат — вззс, вззс, как поцелуй неожиданный и страстный — взасос. Поцелуй меня, поганого, пожалуйста... Очищенного и опрятного любая дура поцелует. Стань выше народной толпы, поднимись под потоком... нет, не на дыбы, зачем ты ерничаешь, душа моя, когда я плачу? Чего хочу?

...Я хотел, чтоб ты вознеслась над... и меня бы притянула. Истина вверху держится, мне с палубы ее не достать и с плю-

щади тоже — жилой или Дворцовой. Не достать, а надо бы, потому что всякую дрянь в руках держишь, а истина не дается. Прежде казалось, что я высокий, что дотянусь, так ведь хоть на цыпочки встань, а облака не достанешь. Истина и есть облако, и живет вверх, обличье меняет... Смотришь на облако, оно коровой кажется, и вдруг вымя вытянется и наползет на место головы, тогда уже не корова кажется, а тренога в юбке — полу-баба, полуаппарат... Нет, нет! К тебе это отношения не имеет. Это все обо мне в данный момент — в самый разлив современности. Подчеркиваю два слова: разлив и современность. Разливать мне нечего, а современность проклевывается. Согласись, что наша современность как бы полумера — полупроводники, полуботинки, полуфабрикаты и мы с тобою... полулюбовники, полувраги.

Ты мне не враг? Не верю! Друг не стал бы меня злить, изображать и приструнивать. По крайней мере, для полуживого тела мораль бесполезна, а ты — моралистка. Вот чтоб мне слохнуть на этом месте, чтоб мне провалиться!.. А помолчать не хочу, ты уж извини... У каждого человека свой выход к морю. Люди обычно скрывают своё нечто, а я открываюсь, — я иду к моему морю голым, и если не утону, то выкупаюсь. Понятно тебе? Раз не ругаешься, значит поняла. Спасибо. Когда ты молчишь, у меня больше ощущений понимания, чем в разговоре. Тебе бы с самого начала молчать.

Что ж такого случилось особенного? Дорвался до халявы и перебрал, а когда выветриваться стало, то на пустое место полезла жажда, утолить нечем, и стал я тебе зубы заговаривать.

Не сердись, душа моя, присядь со мной на жердочку, я тебе сказку расскажу или балладу спою, и баланды сварю — воду себе солью, а кашицу Ташеньке: баю, баюшки, баю, Ташу балладную мою, а она белым бела от зла и красным красна со сна... Хорошо, после сна. Никакой дубиной я тебя не называл, деревом тоже. Со сна это не дерево сосна, а пробуждение от сна. Не хочу вспоминать, как старые поэты издевались над сном женщин. Я еще не старый, но уже не молодой, поэтому на заре ты ее не ку-ку от Махачкалы до Баку, а проснешься, тогда труба выше пяток и ниже лба.

Молчу! Молчу! Не буду петь — не певец, не купец, не кузнец, не ездец и не швец и не жнец, наконец... Ритм повел меня

на овец, но тут стала напрашиваться женская рифма, что неприлично, негигиенично и во множественном числе неприемлемо — пи... Что?

Сказку обещал? Да я весь сказка — любую жилку потяни, сама увидишь... Слушаюсь, гражданин начальница! Так точно, гр-р-р... Грыжу не накричу, не такой уж я горластый. И точность блюду — без точности бутылку на троих не разлить. А для меня точность как болезнь — показывает слабинку организма, у которого за душой ни копейки денег. Нет, не вру! Допускаю, что нормальный человек не имеет ни копейки даже целыми днями — до недели и больше. Допуски — это поправки к точности, понятие технологическое или механическое. В каждом рассказе столько допусков, что пропусков не заметишь...

Слышишь, в горле шипит? Пасть перегрелась. Дай хлебнуть чего... Язык шершав, как у кота... Хочешь, лизну? Нет, не улизну, а лизну — коснусь твоей прелестной щеки, не поцарапаю — ни-ни! А после будут запяточки, потому что мы перейдем от простых предложений к синтаксическим занудствам. И никаких намеков. Уже начал рассказывать, ударение где надо. Не про ширину, значит.

В некотором царстве, в сраном государстве жил был кто-то, не хуже Дон Кихота, то есть тощ и прям, зато упрям. Звали его маленьким, была у него маменька, а папаша был врач кобыл...

Не угодить тебе... Что ты пузыри пускаешь? Стыдно меня слушать? Нет? Тогда в чем дело?!

А-а-а-а, ты мою биографию уже знаешь.... Мне бы так. Сто раз рассказываю, а ничего подлинного о себе не знаю. Я бы стал рассказывать о других, да этого делать нельзя: понравится тебе кто другой, ты и сбежишь к нему. Лучше терпи меня. Я терплю тебя тоже. Бедные люди вообще очень терпеливы. Думаю, если Иван Петрович Павлов занялся бы физиологией терпения, его имя всегда бы стояло рядом с человеком, а не с собакой. А он, этот Павлов, был принципиален и считал, что наука не имеет права смешивать в одном котле нравственные и физические кислоты, компоты, котлеты, риголеты и триолеты.

Я ничего не путаю. Не перебивай! Не могу поверить, что никогда тебе о Павлове не... это на меня не похоже. Это он виноват, по мне, это он выдал «вследствие причин, Юрий Александрович...» Да не про академика я талдычу! Профессор Павлов

ещё не умер, кажется, но я не могу с ним встречаться. Не могу смотреть в его глаза... Это не стыд, это не неловкость — этому нет слов, понимаешь? У меня и нет слов — кошмар! Или кошмарик. Тоже съедобно, но в микродозах, как гомеопатическая любовь: три раза в день по паре капель. Не уклоняюсь, не уклонист, а Пизанская колокольня — делали меня прямым, грунт не выдержал и пополз вместе с подошвами. Живу под наклоном, под головой пропасть, под задницей голубятня...

Занесло! Мне признаваться не стыдно. Стыдно, что я помню про Павлова, вернее, не забываю, а рассказать это — мука смертная. Очень плохо... Очень некрасиво и вредно то, что с каждым словом убывает из меня охмеление. Когда человек трезвеет, он — зверь, он возмещает убытки из организма чужим горем... Отловила-таки! Морализую! От протрезвления можно еще хуже слово выплюнуть. Я морализатор с горя или с похмеля. Тебе-то что Павлов?! Это мне он Павлов, а всем остальным профессор Иван Петрович.

Поехали! И проехали. Лишняя буква меняет суть человека с полноты на ущерб. Так и складывается сызмальства — растет, пока не помрет. И я рос курнос, а дорос до двадцати — нос вытянулся, хочет губу достать. Я не вру, у меня это ощущение, а как выглядит нос, не ведаю — не вижу. В зеркале, когда бреюсь? Бреюсь с закрытыми глазами в парикмахерской — десять копеечек — и чист перед Богом и людьми. Не тяну более. Пойми правильно, отступление не есть оттяжка или уклон — это прием. Мой нос набрался жизненного опыта и потянул вниз. Больше голову не задираю, смотрю под ноги, как следопыт. И победителем себя не чувствую, поэтому отступление мне стратегия и тактика, как похмелка. Вероятно, наши классики тоже попиwali до сшибачки, у них, у каждого отступлений даже в мирные дни не сочтешь. Примыкаю к классикам! Причем на своем уровне. Для мирных жителей отступление есть передышка, перерыв или перемена, во время которой можно слезу утереть, или сменить мелодию отхода, или подштанники сменить... Это зависит от всей кампании в войне или мире. Для меня отступление еще и парадокс (в смысле движения): вперед последним, назад — первым. Съела меня? Не вывернулся, а признался.

На рубеже... Ох, что-то в красивости бросило. Не было рубежа. Тридцати лет не было, а двадцать девять уже прошло. Был

тогда привлекательным и неглупым. Ерничать не умел. Проживал на полном серьёзе, мог пасть порвать за правду, только правды никакой не было, если не считать центральную. По-моему, правда — это чувство себя в неполноценном мире: я знаю правду, а другие с ней даже незнакомы. И не пил тогда... Когда тогда? На заре туманной юности, в самом абстрактном состоянии уверенности и возможности...

Вот бы выпить чего укрепляющего! А то ножки дрожать начинают. Нет ли водички огуречной, Ташенька? Или лосьёну, он тоже на спирту... Не подталкивай меня к пропасти — свалюсь, а обломки мои уже ничего тебе не расскажут. Что было? Лето было — начиналось. Я сидел у отворенного окна и строчил — писал строчку за строчкой и был уверен, что это не строчки и не сморчки, а растения чувств под шапками мыслей. И вдруг поставил последнюю точку. Мама моя, что было! Я ошалел. Я одурел. Я был ошеломлен — закончил! Первую книгу закончил! Точку поставил, можно дышать, не торопясь к концу... Если хлебнешь чифиря или дури глотнешь — такое же состояние, и флюиды иллюзий окружают, охмуряют, обещают что-то... Я ни во что не верил, а чувствую — да, что еще так правдиво, как чувство?! Грудь распирало от частых вздохов. Ножки притоптывали, я им дал волю и, глядь, уже под подошвами панель, с боков эхо налетает, а каблук щелк да щелк, словно я цыганочку с выходом топочу. Вокруг город пустой — раннеутренний — ни кошек, ни дворников. Голова моя торчала смело, вокруг веселился город без свидетелей, словно бы воронку свивал вокруг меня. И вдруг толстый слой запаха сирени. Я задохнулся от свежести и восторга. Ах, сирень, оставь, поставь, мне бы выпить на полста — на полста копеечек...

И не выпрашиваю, ты ошиблась. Запах сирени что-то мне напомнил, я стал осматриваться, словно первый раз в этом месте очутился. Да не в первый. Может — в сотый и беспамятный. По левую руку от меня торчали кусты сиреней, за сиренями скверик десять шагов туда-сюда, а глубже — дом... Был. До войны был домик детского сада, или очага, куда меня мама водила. Разбомбили домик начисто. Скверик остался существовать. Это хорошо, что скверик, а не домик. Домик я бы сам взорвал — отомстил бы. Он меня искалечил, нет — меня в нем искалечили, в очаге этом. Вздумали делать прививки

от моровой язвы, или от столбняка, или от бледной немочи... Я знаю? Меня не спрашивали, ввели в комнатуху, где пахло эфиром. Медицинские люди в халатах работали руками и иглами на шприцах — смотреть жутко. Терпеть не могу чужих рук, а они меня хватают. Сейчас и в детстве. Мне личное оружие надо — отстреливаться. Засадил в попку укол, словно разорвали мой мир на части. Воздух стал красным, голоса громовыми, руки — если бы их зажать и сжечь — все разом! Ведь они убили во мне доверие взрослым. С тех пор никому не верю, даже тебе. Тебе больше других не верю: женщина, как Земля обетованная, полна молоком и медом, и каждый завоевывает эту землю, а земля-то терпит. Зачем так? Всем хватит?! Всем земли хватало? Да какое мне дело до всех? Мне моей земли надо, а не всехней. В чем же дело? В маленьком кошмарики: я поклонился сиреням...

Недопоклонился. За спиной проскрежетал чужой голос:

— Ах, какой прекрасный поступок! Какой несовременный, какой торжественный! Немножечко позёрства даже не портит. Не пугайтесь, пожалуйста, меня не надо бояться....

А я от скрежета вздрогнул. Это закон природы: если боишься одиночества, то вздрагиваешь, когда его нарушают без предупреждения.

Дымглазая моя, возьми Юру за моря...

Научно не выражаюсь, ты неправа. Юра Зятюшков выражается художественно, потому что ему худо, и матерно, когда вспоминает маму. Отрезвление подпускает кислоты в полость пасти. Здрасте!

Слушай меня, не отражая звуков.

Скрипучий голос был отвратительным — я его вычислил за миг. Темб был бррр, смесь истерического фальцета с бромом баритона, такими голосами владеют людишки угасших страстей. Бог бы с ними, со страстями и людишками, так мне подстрочник услышался: обратите на меня внимание! Я обратил — голосу было лет пятьдесят, он был мужским и толстым более, чем крепким, а лицо казалось круглым, как сковорода. Я был вдвое моложе и втрое сильнее, мне захотелось дразниться.

— Не обольщайтесь моим страхом, страшила, — сказал я.

— Какие слова! Ой, какие слова! — старик хохотал. — Клянись, вы раз в год запоем читаете романы девятнадцатого века

и раз в десятилетие попадаете в оперу или филармонию. Вы — интеллигент современности.

Меня ударили изнутри — в голову. Меня оболгали. Надо мной издевались. Хотелось разглядеть ругателя и лжеца, а смотреть было не на что. Табло. Диск с ушами. Над кадычком. Глаза непроницаемы, как бельмы, но зеленые, а зрачок — точкой. Что такому лицу сказать? Мой голос это знал и промолвил:

— Хрящ.

Он улыбнулся и мгновенно стал очевидным: аккуратненький, чистенький, галстук бабочкой, жакет на руке. Ещё бы тирольку с пером, так сам Мефистофель мог бы оказаться рядом со мною на Двенадцатой линии Васильевского острова. Воевать с ним уже не хотелось.

— Вы растерялись?

— Мы не терялись и не находились, мы стояли, а нам в спину стреляли старомодными словесами. Кто вам дал право хулиганить по ночам?

В ответ он захохотал не очень громко и не очень приветливо, потом кашлянул словом:

— Право? Разве нужны специальные права, чтобы заговорить с живым человеком? К тому же вы тут в единственном числе, больше обратиться было не к кому. Право, не к кому... Такое странное время — людей вокруг нет, наверное, где-нибудь права ищут, а найдут, станут примерять то на себя, то на соседа. Какая-то патология кишечечно-мозговой функции речитатива.

Вот в таком, как сейчас, отрезвлении я тоже могу стряпать фразы. Сейчас бы я его изобличил мгновенно, а тогда он меня удивил жилистой изворотливостью научных слов. Я смотрел на него и не видел, а в моей маковой коробочке трещали сухие слова. Он не дал мне додуматься ни до чего.

— Давайте познакомимся, — запросто произнес интеллигентный мужичок. — Меня зовут Иван Петрович Павлов, я — физиолог..

— Сократ Платонович Сковорода, — мгновенно представился я.

И он вдруг закричал:

— Вы не смеете так шутить! Не смеете! Мое имя — камень на моей шее, я не виноват, что получилось такое совпадение,

когда я родился, мои родители о Павлове не знали. А вы, молокосос, издеваетесь...

— А вы — профессор из Одессы, в вашем словаре для студентов есть полный набор определений: сопляк, босяк, молокосос...

Он бросил мою руку, как липучку или грязь, а я свою брошенную нагло вытер о штанину — очистился. Он это просматривал, свернув голову на бок, как птичка, и не двигался с места.

— Неужели я вас испачкал? — иронично спросил он.

— Было ощущение последнего слога, но без запаха, — ответил я.

— Зубы у вас — во! — он показал длинный указательный палец. — Если научитесь кусать неприятелей, станете победителем. Людоеды так и перерастают из дикарей в диктаторов. Но вы меня не пугаете — меня невозможно перепугать сильнее, чем мое всестороннее имя. Согласны на знакомство?

— Из уважения к упорству, — сказал я.

— Тогда назовитесь.

— Зятюшков, — ответил я.

— А по батюшке?

— Юрий Александрович.

— Вот так-то лучше. Вас в школе наверняка дразнили Зятем...

— Меня в школе не дразнили. На улице была кликуха «Гнилой», так это чисто биографическая кличка — болел много. А вас наверняка дразнили Академиком.

— Куда ж денешься, — вздохнул Павлов. — Я даже в медицину пошел из-за имени, все же Иван Петрович Павлов в медицине как бы норма дерзаний. Представьте себе Ивана Петровича Павлова механиком или паровозостроителем, вам сразу упряжка собак примерещится... А я был музыкантом по милости божьей... Не мог я пойти учиться в консерваторию — от меня ждали бы собачьих вальсов и, может быть, опер. Куда вы спешите?

— В никуда. Спешу без определенных занятий, хорошо бы к воде, к широкой — без берегов. Можно и на Неву, но там сейчас вздернутые руки мостов вопиют...

— Да, руки вопиющи... Вы часом не поэт ли, Юрий Александрович?

— Часом в поэзии не отделаешься, для нее жизнь отдать надо.

Он улыбнулся без ехидства и, подцепив меня под руку, повел к Неве.

— Почему-то вы мне симпатичны, — сказал он. — Несколько покорила ваша претензия на всю жизнь для поэзии. Я не чужд ей, даже не могу представить себе жизнь без поэзии, но сказать, что для нее нужно отдать жизнь, — это чересчур, это патетика, это вы переборщили, дорогой мой Зятюшков. И все же в пустом городе почти ночью встретить поэта, который кланяется кустам памяти... Знаете ли, это редкость. Это впервые в моей жизни.

— То ли дело встретить физиолога Ивана Петровича Павлова!

Он оттолкнулся от меня на мгновение и сразу же приткнулся к боку, вцепившись в мое предплечье.

— Шутите, а мне не до шуток. Смейтесь заранее: в юности я встретился с физиологом профессором Иваном Петровичем Павловым, он преподавал в Третьем медицинском институте Ленинграда. Представляете ситуацию? Профессор и слушатель — одноименны. Наш профессор не имел ни одной черточки характера или одаренности академика Павлова. Он был зануден, как мыльный камень, из которого легко вырезать безделушки. Почему он стал физиологом — только богу известно, однако в нем тщеславия не было, гордость была служебной, а добивался он титулов и званий усидчивостью и дисциплиной. Меня он за личность не воспринимал, даже не замечал, что мы однофамильцы. «Слушайте, э-э-э, как вас там, слушатель Папавлов, не шушукайтесь, а то прошуршите терапию до самого морга». И смеялся, он считал себя остряком в аудитории. А я взбесился, я решил отомстить разумным и не очень хазарам. Товарищ мой был со мной заодно, потом третий возмутитель нашелся... Мы отрезали в анатомичке пенис у прошлогоднего трупа, обернули салфеткой и заложили в карман профессорского халата. Он был растяпа — ничего не нашел и не искал, но жена его перед стиркой карманы осмотрела и извлекла на свет довольно серьезный пенис.

— Тебя оскорбили! — взвыла она. — Иди немедленно в ректорат...

Через неделю состоялось комсомольское собрание факультета. Пенис лежал на тарелочке на столе президиума, а с трибуны вожак молодежи взывал:

— Совершен проступок, а может быть, преступление. Нашего уважаемого советского профессора оскорбили. Видите это? Хулиганы положили это ему в карман. Если вы не подонки, если вы честные комсомольцы, то встаньте и скажите, кто это проделал?!

Я встал первым, за мной мои товарищи. Всех троих выгнали из института, никто не обратил внимания, что одним из слушателей был Иван Петрович Павлов. На мое счастье, Третий институт расформировали. Я перескочил в Первый медицинский на курс ниже, а потом началась война...

— Мама моя, тут целый роман про отрезанный пенис. Клянусь Апулеем, вы не чужды политической истерии. Скажите, Иван Петрович, а вы сами не получали от слушателей таких подарков?

— Исключено. Я преподавал в Военно-медицинской академии, там курсанты, а не слушатели, разницу улавливаете? В армии служили?

— Нет, конечно, — признался я. — Закосил пригодность к строевой...

— Вот этого я и не понимаю в новом поколении! Какое-то упорное отторжение гражданских институтов, словно вы живете не в государстве, а сами по себе в дремучем лесу.

Я возмутился его профессорством, похожим на тупость. Он, конечно, был старше, так ему-то с высоты возраста лучше видеть, что это за гражданственность у нас в государстве. Я успокоил себя — не позволил возвышать голос — и проговорил как бы отвлеченно:

— И вы серьезно говорите о гражданственности после XX съезда непобедимой и легендарной да еще после реставрации культа Никитой?

— Да какая разница гражданину, был этот съезд или нет! — завопил Павлов. — Люди остались людьми, им плохо. Планета пока нерушима. Чувство гражданственности — это высота, чистота и двигатель... Вы поэт, вы что-то пишете?.. Что вы можете написать, если у вас нет понятия о гражданственности?

— А вы меня читали? — спросил я.

— Дайте мне ваши книги — прочту.

Он блестел злыми глазами — так смотрит на медведя зверовая лайка, — он был спокоен: уверен, что у меня книг нет.

— У меня есть рукопись книги, сегодня закончил... Я ее похороню в нижнем ящике стола в канцелярской папке, как в гробу.

— Ничегошеньки не понимаю, — отреагировал Иван Петрович. — У вас была гордая интонация и очень искренние слова, а мысль — пагубная. Ваше торжественное лицо опровергает звуковую фигуру. Это нестыковка — распад единства, нравственный провал. Я понимаю, что книга, как ребенок, вынуждена, выстрадана, возвращена, а у вас — похоронена... Разве можно хоронить своих детей?! Зачем вы писали книгу? Зачем вы отворили ей путь в жизнь?

Он оглушил меня взрывом вопросов — на взрывной волне меня закачало. Что я мог возразить? Что я не мать, а отец книги? Что отцы не так телесно переносят гибель детей? Что у меня может быть десятка два уже их — детей-то, и ножками топаят, и мыслишками пуляют, а нету времени выпустить их на свет божий... Если бы гранита сбоку не было, меня бы унесло в воду.

По куполу неба прокатывались звуки просыпавшегося города. Мы спустились к воде на Стрелке Васильевского острова — там яма тишины, там все пропорции гиперболичны, а живность уменьшается до штриха.

— Знаете, Юра, — вдруг заговорил Павлов. — Вы разрешите старенькому профессору вас так называть? Я вам верю. Верю, что вы можете хорошо писать. Верю, что у вас неповрежденный интеллект. Однако у меня есть тяжелый жизненный опыт, который говорит, что вы на опасном пути. Я не сравниваю вас с собою — нет, нет! Но творчество, в чем бы оно ни выражалось, строит уравнения. Понимаете?

Щека у профессора дергалась, седые височки блестели, в глазах появилась собачья святость пораженца. Мне не было жалко его. Я думал: вот кто нас учит, вот кто наши профессора... Это лучшие-то, думающие свободно. Чему может меня научить такой гриб?

— Я кажусь вам ветхозаветным фарисеем, — сказал он. — Мои тирады вам забавны и старомодны. Но меня учили гово-

рить тирадами — то есть говорить грамотно, связно и точно. Вы же спонтанны... Ваши враги называют вас сорняками. Не пугайтесь, сорняков не существует, это человеческая жадность отделила хлеб от травы, арбузы от репейника... А природа одинаково матерински относится к растениям и животным. Я это понимаю, но как преподаватель обязан быть на стороне человеческой заботы о полезных вещах. Поэтому мое понимание долга перед родиной вас смешит. Моя уверенность в нужности гражданского воспитания вам кажется дисциплиной и наказанием. И разве только вам? Моя любовь к искусству сбита с полета... Я оказываюсь в нижнем пласте культуры, а там застой. Хочется свежего воздуха современности... Скажите, Юра, есть ли современность? Я не чую ее, я не воспринимаю ее технического конгломерата. Слышу, что в воздухе проносятся эпидемии мимолетных привязанностей — то Камю, то Кафки, то Пастернака... Эпидемии, с моей точки зрения, смертельны. Вы любите музыку? Музыка многое объясняет лучше слов. Самое абстрактное искусство, о котором даже не спорят, а... Послушайте музыку — незнакомую, не именованную, но если у вас человеческое сердце — вы услышите! Вы узнаете себя, вы поймете других. Я всегда поражаюсь, что русскую музыку нельзя спутать ни с какой иной...

— Вы просто славянофил, Иван Петрович, — сказал я ему, ибо он стал надоедать. — Ваше человеческое сердце есть прямое издевательство над физиологией.

— Экий вы озорник! — воскликнул он.

Я решил не сдаваться ни под каким видом — ни от жалости, ни от скуки. Титул озорника был мне в помощники.

— Вы правы, Иван Петрович, русская музыка это всё — это великая куча, где Чай и Ковский, где Рим и Корсаков, где Тянь и Шанский и непременно же сам Леонид Осипович Утесов...

— Не нужно острить, Юра! — потребовал он. — Не нужно вышучивать имена — они священны.

— Для кого? Когда? Зачем? — заорал я на него.

Он отшатнулся, мне показалось, что он сбежит. Нет, не тут-то было. Он погладил меня по руке.

— Возможно, в вашем сопротивлении заложены корни новой гражданственности, просто вы решили отрицать звучание старых слов: культура, гражданственность, патриотизм. Они в

самом деле очень употребляемы нынче — к месту и не к месту...

— Они затасканы, как шлюха, — поправил я.

— Принимаю вашу редакцию. Однако мы говорим не о внешности слов, а об их глубокой сущности. Вот вы закончили книгу... и вы хотите похоронить ее в ящике письменного стола... тут теза и антитеза всей жизни: созидание и разрушение... Скажите, Юрий Александрович, вы знали заранее, что похороните свою книгу?

— Пожалуй, да, — твердо сказал я.

— Так это ж безнравственно! Это не блоковская боль:

Молчите, проклятые книги,
Я вас не писал никогда!

Это бесстыдный и бесполезный процесс, как мастурбация, просите мне... Зачем вы писали книгу? Просветите меня! Я не шучу! Я хочу знать ментальную разницу наших поколений, я хочу знать, ради чего я терпел столь тяжкие дни своей жизни. Иногда мне кажется, что мою жизнь попирали пустые люди, что лучше уйти самому, чем ждать большей лжи, большего издевательства...

— Вы о чем, профессор? Какую поддержку вы ищете? Вам нужен кусок хлеба? Или нуждаетесь в ограде персональной охраны? Или вам не дали звания заслуженного деятеля науки?

— Прекратите! Вы нападаете на меня, словно именно я причина вашей трагедии.

И тут, душа моя, сволочной Зятюшков выступил как профессор с докладом на соискание попечителя нравственности... Да, я умею быть занудой. Да, я чувствую слабинку других и гуляю голыми ногами по наболевшей душе. А с Иваном Петровичем мое зло имело приманку или наживку. Он-то хищником не был, просто изголодался по откровениям. Надувшись, как паразит, и распрямив спину, я уперся в гранитный камень руками и заговорил:

— Вы спрашиваете серьезно, я вам серьезно отвечу. Книга есть моя книга, как кожа моя. Я отождествлял себя с книгой, я как бы видел себя сам со стороны и одновременно осознавал, что эта работа ни в какие ворота не лезет, что стражи нашего

реализма назовут ее вредным явлением или того хуже... Такой книге лучше спать вечным сном. И все же я не книга, я — автор. Книга есть моя игра с огнем, с болью, с политикой и нравственностью. Что такое нравственность? Власть нравственна? А концентрационные лагеря тоже? А убийства по закону? Но если закону можно убивать, то и без закона это можно, потому что нравственность одноименна, не так ли? А служение искусству за деньги — что это?! Разница между нами, Иван Петрович, в том, что вы придаете некоторым словам излишнее значение, а они всего лишь гондон, скрывающий все тот же детородный член.

— Значит, вы готовитесь похоронить себя, как свою книгу, — сказал он и рассмешил меня.

— Вовсе нет! Я надену маскхалат и стану невидимкой. Приятель избрал для меня бумаги с гербовой печатью, где сказано, что Зятюшков есть служащий от искусства. Власти будут смотреть на меня сквозь пальцы, словно на идиота, который не опасен посторонним. Идиотам у нас еще кое-что позволяют...

— Не идиотам, а верноподданным.

— Опять слова, профессор. Мне на них наплевать, я ведь ряженный буду, скоморошный, — весьма гордо парировал я.

— Когда я еще кандидатскую писал, мой ведущий прямо сказал, чтобы во вступительной части были ссылки на классиков марксизма, но я себя ряженным не ощущал. Я делал научную работу, полезную людям. А вы собираетесь людей обманывать. Думаю, что у вас ничего не выйдет. Если вы настоящий поэт, вы лгать не сможете. Лучше уж быть жертвой.

— А вы не хотите стать жертвой? — озлился я.

— Спасибо, я уже, — мягко сказал Павлов. — Вы не умеете этого видеть, Юра. Нет, не подумайте, что я был репрессирован. Несправедливости исторического времени меня обошли стороной. И все же я жертва, и страдаю как жертва. И виной тому мое дворянское воспитание. У меня с детства были общие идеалы, а слова политиков всегда соответствовали этим идеалам. Увлечение искусством скрашивало многое, а наука научила быть в строю, не нарушая идеализма. Отец мой еще до революции заметил мне: «Не путай государство с личностью — это вещи полярные. Государству свойственна законность, а личности — гражданственность, поэтому личность может быть

свята или грешна, а государство — нужно». Я потратил много лет на расшифровку того, что не зашифровано. Это было таким удивлением, что я умыл удивление шампанским и коньяком. Оно не отмылось. И тогда я стал попивать... Вы знаете, что такое алкоголизм, Юра? Это крутая жажда веков, хлынувшая в душу вследствие некоторых причин... Жажду.., постоянно. Если вы не против, я приму грамммульку...

Он извлек из бокового кармана жакета серебряную фляжечку с винтовой крышкой и сделал быстрый глоток.

— Хотите? — сказал он мне, но я отказался. — И никто не знает, что Павлов алкоголик.

— А жена?

— А жена погибла в блокаду. Больше ни одну женщину я не мог назвать женою... Мне, пожалуй, пора, пойду к дому, сорочку сменю, побреюсь... Впереди долгий день труда... Я устал от вас, Юрий Александрович. В вас есть привлекательность, но на ней такой толстый слой невежества, что я пугаюсь — не погибнете ли вы под таким наносом? Если захотите поговорить, приходите ко мне — домой или в Институт физиологии, это всё рядом, мы же с вами василеостровцы... Помните, друг мой, что гражданственность не уместается в рамки временных определений, она огромна, как воздух, и, как воздух, нужна для живых людей.

— А мне не нравится испорченный воздух, профессор, я им не дышу.

— Юра, Юра! О, черт вас возьми! Вы циник с потенцией нигилиста, бойтесь себя, ужасайтесь себе. Однажды люди, подобные вам, запели: кто был ничем, тот станет всем — и наломали целый лес дров. Они забыли, что из ничего ничего не получается...

Профессор смолк и голову опустил, а я чувствовал себя победителем, мне его слова были нелепостью. Победить в споре профессора — это тебе не хухры-махры, я гордился, позабыв думать.

На другой день всё шло по плану: приехал Алька Шварц и привез мне липовую бумагу с гербовой печатью, по которой я значился сценаристом Научпопки. Бумага была причиной, по которой мы выпили зверобоем и отправились праздновать новое звание на студию. Под давлением портвейнов и вымо-

гательств я наболтал ребятам сценарий о дровах — дровах из бурелома, дровах из дерьма, дровах по плановым заготовкам, дровах в печах и каминах при полной пожарной безопасности, а еще про крематории, где без дров просто делать нечего.

— Палки тоже дрова, или это из другой оперы? — спросил Алька.

— Это из музыки об алкашах композитора Ивана Петровича Павлова, который все же физиолог, — отвечал я. — Мы с ним как-то утречком повстречались...

— Встретишь Ломоносова, возьми адресок кайсацкия орды или телефончик запиши, но учти, он — алкаш, обмануть может.

Мне стало обидно за Павлова и алкашей, я начал пинаться и разговаривать о матерях, чаще всего чужих, тогда Филя с Алькой затолкали мое тело в такси, и Филя сел на меня, чтоб сдерживать лягание моих задних ног. Я выключился от тяжести, а проснулся легким и бестолковым, начинки во мне не осталось ни слова. Похмелившись вермутом, случайно оставшимся недопитым, я, Юрий Зятюшков, сел за стол, достал свою рукопись и стал читать. Тоска и жажда одолели меня уже на третьей странице. Я ринулся в гастроном и сложился на маленькую с местным ханыгой Ильею Фомкой. Когда-то мы с Фомой учились в Тридцатой школе — это роднит.

Вернувшись к рукописи, я читать не мог — не более двух-трех страниц, а потом жажда гнала меня к ручейку, стакану или пивной кружке... Зацепок в своей книге не находил, тем легче было впадать в тоску. Теперь я перестал писать совсем... я стал разговаривать, как на поминках. Это и есть поминки по самому себе. Видишь, даже тебе, душа моя, не о любви разговариваю, а про Зятюшкова. Хорошо гворою? Таша, Таша, все ты меня укалываешь, как китайская медицина. Я сам знаю, что о покойных плохо не говорят. И в глубине души у меня гнездышко есть, а в гнездышке записка:

«Милая Таша, если ты своей рукой зачерпнешь воды святой, Юрка, может, оживет и распустит свой живот, ибо вследствие причин он еще недомужчин, но и не пацан уже, обожая неглиже. Вместе выпьем и закусим и опять живот распустим».

Не выйдет? Что — не выйдет? Замуж не выйдет? Так я и не звал тебя замуж. Звал рядом — стакан в стакан. И скуку твою

понимаю, самому скучно... Выпить надо — как от смерти, а не на что. Стыжусь? Нет. Чего мне стыдиться-то? Не вру, не обманываю, не убиваю, не прелюбодействую и в бога не ругаюсь. Прямо святая святых, а ты глумишься... Вот стань бабой Ягою, баню мне истопи, напои, накорми, спать с собою положи, а потом уж требуй от меня веселых сплетен.

Да, тут ты права: ты не баба, а женщина. Пойду в народ — в гушу населения — в гастроном или на колхозный рынок, лягу под забором, может, кто сжалится... И пусть. «Я умру под забором, как пёс, пусть жизнь меня в землю втоптала, я верю...» Во что? Бесполезный вопрос, и мне далеко до вокзала... Ту-ту! Таша, ау! Не дашь и не надо. Я ушел на край света искать счастья. Прощай.

ПРОСТОР ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Повесть

Глава первая

Над бетонными шпалами, над голубыми рельсами и промасленной щебенкой насыпи взметнулась тонкая пыль и плавно осела на серое тело асфальтовой платформы. Электричка, жужжа, унеслась, а редкая толпа народу, качаясь, двинулась к лесенке с перрона. Собачий лай раздался сквозь людские голоса и сквозь птичью переключку, лай был слышнее шершавого шума ног и басового оханья далекого катера — лай собаки звал человека. Вероятно, слух этой собаки был превосходный, и лай был призывный, словно собака узнала валкую походку хозяина и торопила его шаги, взвизгивая от восторга и жадности.

Виктор Журавлев улыбнулся, услышав собачий голос, взглянул на цепочку пассажиров, как бы сползающих с платформы и стремящихся к автобусной остановке — к лесной дороге, туда, где резко обрывается связь людей с городом: ехали в электричке горожане, а сошли на лесную дорогу, добрались до канавы и вдруг превратились в иных существ, которые иначе спешат, иначе суетятся и говорят иначе, чем в городе. Виктор безошибочно узнал сутулую спину хозяина собаки, уловил глухой стук его сапог, сношенных на внешнюю сторону — от косялости, от частого блуждания в лесу, от старания бесшумно ставить ногу при виде вожака дичи. Он узнал сдержанное дыхание охотника, уловил смешанный дух дегтя и пота, к этому ещё примешивался запах приперченной колбасы (собачья радость), и подумал, что хорошо ему — ждут, а собака не худшая личность ожидания. Виктор позавидовал охотнику...

Тут затарахтел грязный автобус. Казалось, что металлические листы обшивки решили осыпаться с корпуса от старости и разболтанности, однако удержались на ржавых винтах и клепках. Четкая дробь работающего дятла перебила шум мотора. Звук дробы падал с выси, раздвигая иные звуки, у которых не было сил сопротивляться напору и четкости. Каждый звук этой дробы тащил на себе вкус воздуха оттуда — сверху, где вечернее солнце играло смоляными каплями еловых шишек и румянило кожистые верхушки сосен. Собачий лай захлебнулся. Виктор подумал, что свежесть переполнила пса, погнала слюну и лаять уже нет возможности, но тут же передумал, потому что собаке не новость свежий воздух над головой, она, должно быть, замолкла, увидя хозяина, натянув цепь так, что сжала себе горло. Он ощутил волнение и жадность пса, на какое-то мгновение ему почудилось, будто бы это он стоит на четвереньках — на четырех крепких лапах, покрытых черно-белой шерстью (клокья шерсти катаются под ногами возле конуры, хозяин не метет двора, а если вычесывает пса, то комки шерсти бросает тут же). Он даже уловил горячую слюну и, спохватившись, прикрыл рот ладонью. Виктор тряхнул головой и сбросил наваждение, но вкус ливерной колбасы задержался во рту. «Когда я последний раз ел эту радость? — подумал он. — Уж очень памятен острый привкус с запахом требухи...» Однако вспоминать детали он не стал, а своему воображению сказал, шевеля губами:

— Собаке собачья жизнь.

Верхний ветер с дробью дятла докатился к нему — он вдохнул шумно и глубоко, словно выныривал из воды, и обилие кислорода в этом воздухе как бы лишило его тяжести. Он перепрыгнул асфальтовую дорогу за автобусной остановкой, чтобы расстаться с благами цивилизации, перелетел канаву и выбрал грунтовку, убегающую за кусты. Дорожка была пешеходной — следов колеи не несла, а следы каблуков держала долго. Тело дорожки было глинистым, солнце попадало редкими пятнами, сырость на глине держалась от дождя до дождя. Эту глиняную полосу и дорогой бы не назвать, да по боками её кто-то старательный прорыл канавы, и дорога выпятилась из плоской травы и разрежала толщу кустов. По гривкам канав жили медуница и калган, в канавах стояла рыжая вода, от которой даже живая трава казалась жухлой.

Виктор решил пройти кустарник по дороге — это удобно, это не отвлекает от оценки богатства зарослей и фауны. Он так и подумал — «фауны», и рассмеялся без звука, скалясь на зелень. Кусты не были долгой зарослью — он прошел шагов двадцать и очутился за кустами, в черничнике, в котором редко стояли высокие сосны. Тут запах сверху накатывал, как волны. Виктор как бы поплыл в волнах, он знал, что воздух течет от залива, он узнал просторный и сырой запах большой воды.

По черничнику от глинистой дорожки сетью разбежались тропинки. словно люди, зашедшие сюда, стеснялись идти рядом друг с другом, они отыскивали между кочек свои ходы и на своих проходах чувствовали себя полными владельцами места, поэтому между кустиков черники были вмяты в грунт пивные пробки, оберточная бумага, обломки спичечных коробков, мятые кусочки фольги, консервные банки и осколки битых бутылок. Если вглядываться в это замусоренное место, можно было заметить следы мышей и сорок — старательных охотников за людскими отходами. А там, где стволы деревьев казались гуще, а тени в них — светлее, должно бы расти диким травам, но как далеко идти до этой дикости, до чистоты, до спонтанности, Виктор не знал. Он отчитался перед неряшливым местом, прошептал стихи:

Разбитые осколки
зеленого стекла
лежали по трещинам
лесного барахла.

Еще несколько шагов, и его привлекла белка. Она сидела на сизом срезе пня, грызла корку. В пригороде лесной орех давно утратил возможность бытия, белка это знала на своем горьком опыте — лакомилась корочкой. Крошки осыпались на пень, как опилки, хлебная пыль оседала на шерстку белки, а хвост, загнутый на спину, дергался, рассказывая об удачной добыче. Виктор не поленился — чуть пригнувшись, он заглянул в беличьи глаза и ничего не увидел, кроме блеска и черноты. Белка не испугалась. Она возмущенно фыркнула и трянула корку — хвасталась, что ли, или вымогала примером. А он-то хотел было спросить, вкусно ли грызть отбросы? Белка чуть подпрыгнула всем телом и в это же время повернулась носом

к человеку, её морда выражала упорство и даже гневливость, мол, ты не имеешь права укорять, жрать в лесу нечего, а жить-то надо... Он согласился со зверьком и подумал, что город не просто потребляет дары земли, а считает натуральную жизнь, как тупой хищник, — город опасен жадностью и правами роста, будет ли город беречь какую-то траву? Какую-то белку? Пусть радуется, что ей, белке, нечто досталось от щедрости города. Конечно, охота за отходами порождает лень, лень переходит в разврат, а разврат насыщает вырождение. Лучше бы не грызла белка этой даровой корки, лучше бы она не питалась отбросами дымного чрева своего врага, а мчалась бы в дебри, в глушь, где металлический смрад еще не поселился в травах, где ещё полно ягод, где шишки полны семян, где нетрудно найти теплое дупло на всю зиму. Казалось, что белка понимает нравоучение от человека, но бесстрашно молчит и скалится, а корку не бросает. Виктор подумал, что он сам бы не бросил корку хлеба, будь он белкой, — он, homo sapiens, кому, не думая, дня не выжить. Что ж требовать со зверька? У белки главное — аппетит, который руководит инстинктами. Какой-нибудь мыслитель сказал бы, что это жизнь обжорством. Хорошо все же быть человеком — знаешь сам о себе, а думаешь о других...

Виктор двинулся дальше, автоматически продолжая думать о том, что в нашем техническом, нашем ядерном веке приспособление к окружающей среде закономерно, а нехитрая добычливость нужна для выживания. Что ж, век требует свое — труда от рек, целлюлозы от леса, нефти и металлов от недр, и всё сырьё гонит в города, поэтому немудрено, что дикие звери, как белка, стали чистильщиками природы на равных с воронами и шакалами. Коварное будущее не так уж коварно, если дает пищу кому попало, не требуя отработки.

Тропинка разматывалась между деревьями, обегала болотинки, прыгала на камнях и кочках и проваливалась в обмелевшие ямы. Рядом вились другие тропинки подобного же свойства или характера, создавая лабиринты петель, тупики, ленты проходов, и только черничник жил обычной своей черничной жизнью, стараясь производить ягоды. Этот небольшой лес сохранился между железной дорогой и морем, между цветными штaketниками дач и толстой кожей шоссеиного полотна, тянущегося в Финдландию. Казалось, что сеть дорожек

поймала этот лес и держит, как натуралист, который показывает случайным горожанам иллюзию дремучего чуда, ведь для горожанина даже вытоптанное место с полуживыми деревьями — глушь.

Тропинка неожиданно повернула и стала взбираться на песчаный вал, в лысом теле которого некогда был прорыт путь — нынче тоже лысый, присыпанный сухими хвойными иглами, замусоренный клочками грязной бумаги со следами нечистот торопливых людей. В каком-то месте эта рытвина вдруг сделалась квадратной ямой, по краям ямы были едва заметны сгнившие бревна покрытия — обмотки бересты еще держались на трухе берез. Виктор сразу подумал, что накат провалился и кого-то придавил, и тотчас квадратная яма и рытая тропа к ней приобрели свое старое истинное значение — линия окопов с блиндажом, которая полна былой боли и смертельного страха. Да, это были дворцовые покои солдат, над которыми гремел хорал войны, визжала, летая, смерть, а горячие осколки взрывов срезали ветви деревьев. Виктор спрыгнул в окоп, прилег за бруствером — он шел по тени этого бруствера, не узнавая рукотворность его. Из окопа картина леса выглядела иначе, словно декорации сместились и прочистились невидимыми работниками сцены. Впереди кипела война — лязгал металл, скрежетала гусеница танка, дьявольски свистела, падая, бомба, а над широтой боя хрипели сотни лошадей, загнанных в двигатели тягла. Были там живые лошадки, они тащили пушечки, и выглядели игрушечными (лошадки и пушечки), они разворачивались по плавной кривой, которую им нарисовал на вираже удалой мотоциклист забором пыли. У кирпичного домика без звука взился черный фонтан дыма — это отрыжка звонкой пушечки, чей кашель напоминает звяк литавр. У Виктора немного закружилась голова, он перевел звуки войны в голоса медных духовых инструментов: гремят трубы, ноет волторна, пукает мортира — победный оркестр грохочет над полем, его слушатели могут не выжить от напора мелодии. Тот, кто выживет, тот победитель. Наполненный гордостью победителя, Виктор двигался, как солдат, замедленно и твердо, он шел к переднему краю — к линии огня, но тут шум верхнего ветра скатился к земле. Ветер был перегружен известиями и поэтому тяжел, он слетел с пернатых елей на вороха листьев под куста-

ми и дотянулся до мха сфагнома — прополз по мху, оставляя неровную полосу в мякоти растений.

Виктор тотчас принял след ветра за намек — принял черту во мху за указатель пути и двинулся без дороги по следу ветра, вдыхая запахи смолы, сырости и трогательный банный запах березы. Главным запахом все же был вкус простора, где ветер делался как бы предметом, как бы кораблем в бескрайности воды, а на бортах этого корабля кипят запахи мелочей. Только даль манит запахом солнца. Только даль сияет, дыша влагой. Солнце и вода — сиятельные стихии, породившие ветер. Ветер сбежал от них, и теперь возвращается, соскучившийся. Нет сомнения, Виктор засуетился, Виктор поддался, он хотел бежать, сломя голову, по следу ветра, по призыву воображения, и сделал несколько быстрых шагов, как вдруг...

Он почти перешагнул это, он заметил это смутным пятном и враз отрезвел от иллюзий: на кочке валялся обрывок полотна с рваными краями, как обрывок простыни. Кусок полотна обминал кочку — повторял её рельефы, сопутствовал форме. Кусок полотна вытянул из памяти сравнение. Не вытянул — вырвал мгновенно. И мгновенная боль ударила в его груди — старая боль, таящаяся... Дыхание у него застряло, потом заметалось, сбивая ритм сердечных ударов. Он еще видел серебряную филигрань паутины возле кочки, видел муравья, который взбегал по стеблю к сизо-синей ягоде, чтобы мять мякоть, чтобы обезуметь в храме пищи. Он еще видел глубину леса, прочерченную вертикалями стволов... Но сравнение выскочило из воображения в лес — в реальность и откинуло память его назад во времени. Он попал в вихрь страха. Он был в воронке, вокруг которой ничего нет, а в глубь воронки не провалиться — он повис беспомощным, как муха в паутине.

...В больничной палате стоял плотный запах мочи, пота и медикаментов и запах еще чего-то, что обязательно есть в каждой больнице, это что-то встречается только в больницах. Виктор сперва назвал это запахом болезни. Он очутился в больничной палате и вдохнул, и сразу поймал этот запах, и назвал его для себя — запах болезни. Может быть, высокие потолки, может быть, узкие окна, может быть, железные койки, разделенные белыми тумбочками, порождали этот запах. Он увидел посетителей, которые сидели угрюмыми, скучившимися, окружен-

ными запахом болезни. Больные тихо постанывали, должно быть, не замечая своих звуков. Посетители от стонов немели, а на их лицах проступало гадливое вместо сочувствия. Несколько позже Виктор привык к тяжелому запаху — не выбросишь его, раз он в воздухе! Потом этот запах стал опознавателем места, где все еще жила его любовь, где они умели молчать друг другу, оставаясь неразрывными. Через месяц он уже знал, что это запах смерти, но не верил ему, позволял себе думать, что запах не имеет к нему никакого отношения.

Голова Любы лежала на клочке простыни — на лоскуте, которым специально покрывали подушку, потому что Люба часто сплевывала, у нее по неведомой причине кровоточили десны, и ей был мучителен вкус крови во рту. Наволочку надо было менять каждый день, да с постельным бельем было туго — старенькая бельевищица ленилась десятки раз на дню бегать в прачечную, которая располагалась в подвале за прозекторской, ей (бельевищице) нужно было пробежать шесть лестничных маршей каждый раз, когда она спешила за бельем. Старушка считала, что за неделю мотается по лестницам вверх и вниз не менее 150 раз только на работе, а если учесть, что в доме ее жизни нет лифта, то получится все двести пролетов на своих двоих и за одну весьма некрупную зарплату. Словом, Виктор пользовался кусками простыни, подстилая их на наволочку Любе под голову. Дежурная сестра даже обрадовалась приспособлению Виктора — он ее не отвлекал лишний раз, ей и без того некогда — она дежурила одна на отделение, на четыре палаты, где медленно умирали тяжелые больные, их было восемьдесят человек, и каждому нужно было внимание, или инъекции, или таблетки, или капельница...

Он смотрел на голову Любы на клочке простыни. Ее тело было обернуто байковым одеялом, но гнилостный запах словно бы жил под упаковкой и струился вверх сквозь поры и щели. За высоким узким окном было высокое пустое небо, больше ничего — ни облачка, ни тени, правда, изредка мелькали крылья сизарей, если был обеденный час (объедки с кухни выбрасывались в помойку по расписанию — после обеда, голуби это знали и в положенный час слетались к бачкам с пищевыми отходами). Оттуда же — сверху, от окна — неслись звуки трамвая. Других шумов не было.

Люба умудрялась жить в этой пустоте и немоте. Он уже стал думать, что она пролежит в больнице год. Долготу этого года он не определял — с поры, когда он стал посещать жену каждый день, время скаталось ровными долями, каждая из них была годом, днем или вечностью. Виктор был сердит на соседа-посетителя, который в коридоре сказал ему:

— Скоро конец, милоч. Тут больше двух месяцев не держат — выписывают подыхать домой. А раз не выписывают, то ходи сюда, жди конец...

Этот скрежет чужого голоса и подтолкнул мысль о времени, мол, если не держат больше двух месяцев, то когда? Когда — что? Куда — что? Кому?

Люба сразу разгадала его лицо, она старалась быть твердой и правильной, как мама, — она считала его ребенком за милую прямоту чувств и непосредственность слов, которыми он разговаривал. Поступки его были тоже ребячливы, но, к счастью, люди не видят чужой ребячливости, занятые своей собственной, поэтому она чувствовала себя полной хозяйкой их жизни в словах и поступках. Собравшись с духом, она сказала:

— Ты потерпишь? Мне очень нужно поговорить.

Он кивнул, а покосился на соседнюю койку, где старик Матвей (коридорный шептун) враждебно шевелил губами. Жена Матвея — парализованная старуха — была сложена на пол, так как другого места для нее не было, и не было никакого другого выхода из кошмара нужды и беспомощности, как только сложить ее на пол, где несколько минут можно перетерпеть неудобство, пока муж застелит постель. Старуха, вероятно, уже не чувствовала ни боли, ни холода и не воспринимала вражды своего старика, что злило Матвея. Еще живые глаза старухи глядели в свет окна — вверх, чтобы насытиться высотой пустых небес, чтобы проникнуть взглядом еще выше, куда-то туда, где есть ясность нашего горя, но нет забот, где, может быть, есть для нее Бог.

— Не смотри туда, — услышал Виктор голос Любы. — У нас такая палата, тут не выживают...

Он был готов возразить, но еще не освободился от видения парализованной старухи, а Люба воспользовалась паузой и быстро прошептала:

— Пожалуйста, помолчи. Ты обещался потерпеть. Обещал — терпи. Я же не пристаю к тебе с пустыми разговорами,

правда же? Мне тяжело говорить. Пойми меня, я завтра умру. Молчи. Не раздражайся. И слушай.

— Я не раздражаюсь.

— Вижу. Ты терпишь, а раздражаюсь — я. Глупости все это. Я сказала правду — я завтра умру. Смысла нет мучиться...

— Ты не умрешь. Тут не держат больше шести месяцев, так я тебя завтра заберу домой. Дома не умирают, вот увидишь.

Она сжалась, как в ужасе. Будь ее знание о себе не столь конкретно, не столь ощутимо, а боль не столь тягуча и неотступна, она бы разревелась от умиления перед его несокрушимой простотой. Он так верил в их вдвоенную жизнь, что реалии времени, которые секунда за секундой погоняют людей двигаться туда и так, как нужно этой фиктивной действительности, не достигают сознания. Тут-то мудрец Козырев безусловно прав: время сильно, время мускулисто, оно скручивает моря и сушу и дурачит историков, которые пытаются опознать свежие следы этого времени. Виктор Журавлев о профессоре не думал, а подскажи кто-нибудь ему мысль о силе времени, он бы пропустил всё это мимо ушей. Он был занят полностью — по маковку, догадываясь о том, что хочет сказать ему жена. Он понимал, что она в ином состоянии, не похожем на его, а ощутить этого не умел, и воображение толкало его мысли в русло несколько сумрачное, но действенное: он, как знахарь, вытаскивал ее из болота боли, поя настоями волшебных трав. Даже едкий запах ее болезни смывался на время...

— Витя, голубчик, — услышал он, — вернись. Пойми, боль меня победила...

— Дома не будет больно.

— Ты слишком здоров, — сказала она, и ему почудился не упрек, а насмешка. Он был раним от насмешек, поэтому настояжился и как бы проснулся, а она продолжала: — Домой меня брать не надо. Покойник в доме на долгое горе. И прощаний не надо. Уезжай куда-нибудь дней на пять. Моя мама все сделает...

Пока она пришептывала, он видел в ее глазах тревогу и что-то, что хотелось бы назвать борьбой, — пересветы или мерцания были в глазах ее, а шуршание соседей окружало их, как занавесом. Он чувствовал тайну вокруг — их тайну, тайну двух близких людей, — он бы мог увлечься их тайной, однако она

пришептывала о чем-то другом. Зрачки ее судорожно сокращались и раскрывались, и в широком зрачке, не со дна, а с краев, полыхала боль. Он вообразил свои глаза в таком же действии — в судорожном пульсе зрачков — и почувствовал головокружение, словно со дна неразгаданной бездны взмыл пузырь пустоты и взорвался, качнув его голову. Тяжесть тела растаяла, а гулкий стремительный ужас завился воронкой вокруг него. Он сильно выдохнул. Ужас как будто смирился, но ощущение клокочущей пустоты стало настолько материальным, что его можно было потрогать руками. Так бывает в сильном прибое: ужас чужой силы вокруг, а полосу наката волны можно потрогать. Легче не станет — прибой все равно потащит тело куда-то вниз — во мрак, и остается только одна спасительная хитрость — ползти по дну, цепляться за камни, чтобы выбраться на берег, позволяя прибою скатываться со спины. Виктору Журавлеву тогда захотелось орать оглушительно, во всю силу легких, безумно и бессовестно, лишь бы выкричать ужас пустоты, клокочущий из никуда в ничто.

Свет из высокого окна падал как бы на него одного, поэтому ему чудилось, что он обнажен — доступен рассмотрению любыми глазами, а все остальные люди в палате затенены, и это помогает им быть скрытными или коварными. Он наклонился к ней, коротко дыша и наполняясь от каждого вдоха жутким запахом болезни. Оконный свет как бы миновал его — шел рикошетом, задевая спину, но не попадал в глаза. Он опять почувствовал прибой, который издевался над его мальчишеским телом, но который все же был обманут им, Виктором, и его пальцы вцепились в байковое одеяло, как в грунт берега.

— Мы выныриваем, — прошептал он, — ты меня напугала.

Он хотел рассказать ей про прибой, а мысли перескочили еще дальше, чем отрочество, перескочили в дальнейшее детство, и он сказал слово «мама». Она тотчас ответила улыбкой через силу, но глаза ее стали ласковыми.

— У меня закружилась голова, — сказал Виктор. — У детей это часто бывает. Я глянул с подоконника вниз, а снизу — с улицы — на меня бросился страх. Прямо до тошноты. Я свалился на пол. Перед глазами крутились какие-то вещи и, кажется, качался пол. Мне не было больно, но я ждал боли, боялся боли и еще больше боялся, что меня больше не будет. Что

делает ребенок, если ему страшно? Бежит к маме. Я прибежал к ней, а мама ничего не поняла в моем страхе, она колдовала над кастрюлями, ее круглые руки плавали в клубах пара. Я уцепился за передник, уткнул нос ей в подол и замер. Мама привычно погладила мой затылок и сказала, мол, поиграй немножечко, скоро суп сварится и мы будем обедать. Мой первобытный страх как сдуло, потому что мама ничего во мне не заметила. И я снова пошел в комнату, залез на подоконник и стал глазеть вниз. Страх не появился. Однако вспыхнуло волнение от невиданного прежде состояния «с высоты» — трамвай бежал, как игрушечный, человечки были заводными — стояли, стояли и вдруг двигались, чтобы опять замереть. Только тополь, что рос перед домом, не уменьшился и не изменился характером. Его ровный ствол поднимался куда-то выше нашего окна, листья на ветках были крепкими и блестящими, они постукивали друг о друга, как ладошки. Я победил. Я слез с подоконника на пол и потопал в кухню, чтобы похвастать маме своей смелостью. «Ты что?» — спросила она. Что надо отвечать на такой вопрос? Ведь тут и вопроса-то не было! Но смелость во мне была напором... «Я тебя люблю», — сказал я маме моей. Больше никому и никогда я не говорил этих слов. Даже тебе. Ты удивлялась, что я не говорю этих слов. Не было нужды говорить их. А тебѐрь скажу: я люблю тебя, я тебя очень люблю...

— Знаю, — еле слышно сказала она. Ее голова утопала в подушке, лицо было в тени, только светились белки глаз. Он испугался, что глаза будут протестовать ему, и забормотал:

— Не перебивай. Пожалуйста. Не думай о словах, я в них не ищу смысла. Смысл в голосе...

— Твой голос не здесь...

— Здесь, здесь. Я люблю тебя.

— Здоровым вредно любить, они заболевают, — выдавила она шутку.

— Да, здоров. Именно здоровье помогло мне назвать Любовь любовью, разве ты забыла?

— Нет...

— Это непроходяще, — сказал он и вдруг увидел Время над планетой картинками в учебнике истории: вот широкие бородатые люди в железных доспехах, в рукотканых холстинах тащат челны от реки к реке, чтобы тяжелый Север вползал к про-

зрачному Югу, завоевывая место их встречи. Потом покатился лошадиный топот и пот, и чад костров по степям от Байкала до Карпат, чтобы по земле промчалась поэзия безрассудства, за-рождая безрассудство поэзии, чтобы в бешеном перегоне крови бился пульс любви. А вот вольный Новгород, который дразнит державный Киев, закупая за морем в Царьграде тополя, чтобы республиканский шелест листвы был слышнее шороха осин в стольном городе, чтобы колокольный бой времени назначил им встречу. А город на болоте у чухонских рыбаков возник, как в сказке, потопив строителей, их голоса остались звучать в гранитных камнях, чтобы расчетливая мудрость Запада спотыкалась о доблесть Северной Пальмиры, чтобы мосты нависли над водами, чтобы паутина улиц держала следы любви. Виктор чувствовал себя пауком, прячущимся во дворе, он ждал...

— Разве я — паук? — спросил он.

— Паук? — переспросила она.

— Каждый человек — эгоист, не так ли? Но каждый человек это знает и старается превозмочь. История наша заставила нас встретиться, а когда я пересилил эгоизм, то отгадал твое имя и назвал его.

Она была разочарована его откровением, ей бы хотелось слышать не о нем, а про себя, да так уж сложилась у них — она потакала ему, поэтому попросила:

— Назови еще раз.

— Люба моя, — сразу же сказал он.

Тут он явно проговорился, не думая проговариваться. Она испугалась за него. Она разгадала его. Вся эта история в картинках, вся эта любовь, которую рассказывают, не имеет места в жизни — всё это умыслы и домыслы. Ведь любовь очень похожа на аппетит, а эта страсть не всегда пользуется определенными деликатесами. «Если он пугается неведомого и радуется выражению пустоты, — подумала она, — то лучше обмануть его лаской, как обманывают матери...» Она удивилась сама себе — надо же, умирает, а подыгрывает, реветь надо, дурища, что ты ему подстилаешь?» Но ни тени не мелькнуло в ее глазах, а боль показалась желанной, потому что при сильных болях человеческие решения очищаются от наносов вожделений.

Небо за окном продолжало светиться матовой белизною, но свет, который проникал в больничную палату, не казался

светлым, словно в него подсыпали крупинки темноты. Хлопья вечера опали к ногам предметов, уплотняя тени, и кровати стали как бы монументальней, а больные — как бы более мим-музировались в своих простынях. Только посетители выпятились в объеме комнаты — они были избытком пространства, лишним наполнителем, и сгустки теней подталкивали их со всех сторон — посетителям хотелось уйти. Она была соучастником теней, глаза её засветились укором, и, чтобы вернуть себе жесткую трезвость материнской заботы, она стала думать, что его здоровье ничего не решает, что он осознает себя позже, а сейчас катается на своем здоровье — воображает, грех обрывать его. Она через силу улыбнулась.

— Что случилось? — спросил он.

— Ты должен об этом думать.

— О чем?

— Обо мне.

— Конечно. А как иначе?

Она знала, что иначе не будет, — невозможно иначе. Она знала, что останется для него во плоти даже в игре и вымысле, что его здоровье не коснется чужой игры — он будет ей верен до конца. Знала, если он будет касаться других рук и плеч, живота и бедер или груди — все это будет она, это все будет с нею... Конечно, отречение допустимо, но возможно ли? Её Виктор слишком личность, чтобы стать рядовым потребителем. Он будет жить их тайной, и она будет с ним неразрывно. А если так, то пусть варяги тащат лодки, пусть монголы воюют Европу, пусть Петр Первый строит город на костях — всё это для неё и для него, потому что они оба принадлежат растению человеческого рода, которое не убоится смерти.

От напряжения мыслей ее дыхание участилось и кровь прилила к голове. Стало тошно. Она подавила рвоту, заперев рот ладонью, но частичка слизи пробилась сквозь пальцы. Боль вспыхнула с боков и замкнулась под грудью, она замерла. Поэзия выживания отпустила ее. Он, ее Виктор, вдруг сделался докучным и далеким, поэтому ей не было трудно прогнать его от постели. Набравшись сил, она приказала:

— Тебе пора идти. Двигай, порезвись где-нибудь. И помни уговор — сюда не приходи, понял?

Он молча поцеловал ее в лоб, окатился запахом тлена — горьким, пьянящим и удушливым...

...Виктор шагнул через кочку, а тень перебежала траву, лоскут простыни все ещё светился. Он подумал, что помнит каждое слово того вечера, что может сделать это вещественным, как декорации для спектакля. А никакого спектакля нет — он остался жив по ее приказу, она померла по своему желанию раньше, чем болезнь смогла ее сломать.

«Оставим воспоминания, — приказал он себе, — живому нужно отвлекаться живым. Хотя какое тут живое... затасканное... затаптанное...»

Он повел взглядом по траве и по черничнику, потом обратил внимание на вспученные корни сосны и догадался, что под ними спрятан камень, что сосна обхватила камень корнями, а уж потом въелась в землю. Чувствовать корни, которые связывают камень с грунтом, было несколько садняще, поэтому Виктор перекинул взгляд на березу — на белую ногу ее, поднялся взглядом по ноге до кроны, запутался в шуме и увидел бездонное небо.

«Вот и освободился от прошлого, — подумал он. — Стоит только приказать себе, мол, делай так — освободись, и никаких забот не встретишь. Собственно, я не отрекаюсь от прошлого — я его приглушаю, притупляю остроту. Память моя судит обо мне, а я себя не осуждаю, потому что ничего грешного себе не позволяю. У человека два греха — убийство и предательство, а тут я безгрешен, запишите меня в святые. Пожалуйста. Люба была бы рада...»

Налетел ветер. Виктор подставил грудь ветру, но живой ветер переплеснулся через него. А незримый ветер времени все еще шевелил листы памяти, кружил мыслями и главенствовал в душе.

— Ничего у меня нет и не было, — сказал себе Виктор. — Только Люба моя, кровь моя и память моя.

Успокоенный короткой молитвой над тенью прошлого, он уловил нарастающий запах большой воды. Запах был со звуками — легкими и знакомыми, плеск воды был так вещественно зрим, что бурое рычание автостреды больше не могло заглушить голоса моря. Чистые звуки работают на воображение с неизменной силой, даря легкость зрительного мышления.

Он увидел вечную форму времени, такую же равноправную, как сияние звезд над головой, — этой формой был постоянный сговор воды и ветра. Он увидел за пограничной чертой горизонта покатое лоно вод, в котором вкраплены микроскопические осколки гранитных скал — островки побежденной твердыни, над которыми в синем небе горит солнце. Солнце отражается в зеркальной поверхности воды, а вода прогибается от тяжести огня, отраженный свет сияет на сотни миль, и само сияние несет слабый звук зноя. Звук дрожит. Волны дрожи раскатываются над морем, спотыкаются о грани температуры, подскакивают и опадают — и ветер начинает метаться между высоким огнем солнца и низким зеркалом воды. Буря! Может грянуть буря! Но может и не грянуть. Ветер может подняться выше облаков и озябнуть. Или пасть так низко, что вода примет его игру за насилие.

К счастью, в реальном дне ничего нет, подобного воображению. Не произошло. Драки не было. Оргии воды и ветра не случилось, равно не получилось дуэта ветра и воды. Над узким пляжем, на который выбрался из зарослей Виктор, летали слабые вздохи ветерка. Песок на пляже даже не шевелился. И вода вела себя спокойно, как в лохани, едва напознала на берег без пены и шипения, словно ладошкой подгоняемая. Только за десять шагов от берега, где из воды поднималась покатая спина валуна, вода подплескивалась как бы вдруг, пугая чайку. А ветер на пляже шалил с осиною — поддувал ей в подол, выворачивал листву, — осина торчала, как препарированная, не успевая застыдиться.

Люди на пляже не замечали ни ветра, ни воды — они играли. Люди имели несколько песчаный цвет и повадку ящеров, греющихся на солнце, они поднимали спины, опираясь на короткие лапы, и вертели головами, не меняя горизонтального положения. А Виктор чувствовал себя вертикально, то есть не совсем ловко по отношению к пляжным народам, и одет он был не пляжно, хотя не думал об одежде, в которую облекся ещё ранним утром: он утром собирался за город, поэтому надел фланелевую рубашку и брезентовую куртку.

Было далеко за полдень. В небе скопились рыхлые облачка. Солнце уже не пылало, не жгло яростью, а как бы выпускало желтое тепло. Он на солнце не смотрел — он чувствовал сол-

нце затылком и не прятал от солнца голову — солнце показалось ласковым. Он прошел краем пляжа до ларька, где продавали что-то непривлекательное, и переступил на песок — на свободное от людей пространство, где сразу бросилась вперед его тень. Виктор хотел было сбросить тень с ног, ему тень не понравилась, она выглядела навязчивой, широкой и валкой. Человек с такой тенью недружелюбен — это бросалось в глаза. Виктор подумал, что его тень переигрывает выражение характера, потому что враждебности в нем нет, просто не совмещаются в пространстве и времени дня его тяжелое снаряжение с легкостью пляжного существования. Он легко простил себе вторжение на пляж, потому что не претендовал на внимание, а места у воды было довольно. Ему надо было к воде, у него была встреча с водой — нечто, подобное договорному свиданию, мол, здравствуй, это опять я приехал... Виктор ездил к воде в каждый свободный или каждый возможный день, ездил так давно, что поездки стали правилом жизни, и, если ему не удавалось выбраться из города сюда, к пляжу, к месту, где затухают урбанистические привычки, он тосковал и нервничал, словно его обманули, не придя на свидание.

Вода казалась бесконечной, а берег как бы срезался, касаясь воды. Виктор чувствовал себя урезанным свободой, словно он был одним из пляжных животных горизонтального положения. Свидание с водой состоялось, а радости не принесло. Он ощутил неуместность своего тела на пляже и переместился к воде, как бы заглядывая с широкого края простора в промежуток между соснами, в тень берега. Подглядывание помогло. Он увидел днище лодки недалеко от воды, где песка было немного или казалось, что немного. Лодка валялась килем вверх, бок был проломан, а пролом чернел. Виктору почудилось, что он тоже чернеет в своей брезентовке, что правильной всего быть рядом с лодкой — они уравновесят друг друга по качеству выражения формы, и тогда пляжные народы успокоятся и перестанут вертеть головами.

У лодки он почувствовал спокойствие и заметил, что его тень прилегла у днища, когда он присел. Виктор посмотрел на простор воды от берега до горизонта, потом повел взглядом вдоль горизонта и увидел постоянное перемещение воды, словно дышала она, словно вода была единицей, существом,

личностью. Дыхание воды укачивало его и заманивало вдаль, но он понимал, что этой громаде безразличны его претензии на игру, что стихиям вообще дела нет до людей — ни ненависти, ни приязни, и это его несколько обидело.

Собственно, его сюда не звали. Казнить или оправдываться он выбирался к простору из города? Почему именно сюда? Разве мало пляжей вокруг Ленинграда? Разве мало простора видно с этих пляжей? Так ведь именно сюда он ездит, именно здесь тоскует и мечтает. Именно здесь он прекрасно осознает, что быть откровенным вовсе не легко, что в просторе сознания на дальних краях стоят оборонительные посты лжи, они контролируют мысли, указывают такой путь, где удобней или уютней отказаться от жестких граней истины.

Виктор думал и улыбался. Конечно, для разного склада людей существуют различные приманки, которыми они пользуются, вылавливая удовлетворение от своих поступков, гордясь собой и впадая почти что в наркотическое блаженство. Ему, к примеру, повезло. Ему достаточно одного простора воды в любых погодных условиях, чтобы заслониться от ежедневной грязи выживания, ему не нужен ни мятежный дым трав, ни яд алхимии, которая гоняет дух по ретортам и трубкам, чтобы охладить и слить в склянки с ядом, который все же веселит пьющий народ.

...Это началось ранней весной гиблого года, когда его Люба ушла из жизни. Он как бы полностью лишился воли, а значит и своей личности, он не представлял личность без внутренней воли. Про волю внешнюю у Виктора были горькие фразы, которым он сам не верил, но с напряжением умысла заменял слово «свобода» на слово «воля», поэтому фразы получались старомодными и поэтичными. Сперва безволие было ему на руку — он совершал в обязательном порядке нужные процедуры похорон, ориентируясь в море социальных образований по чужой указке. Для души Виктора безличность действий значения не имела, он воспринимал действия как обряд, обязательный каждому гражданину в определенном психическом состоянии. Его жена знала, что делает, когда приказывала ему записать то и то, чтобы сделать так или этак. Она приказала ему сменить работу — заняться чем-нибудь простым и тяжелым, чтобы не болтать часами в рабочее время с коллегами, а заодно избежать

тмы пустых вопросов и сочувствий, похожих на любопытство. Пустота, которая взорвалась в больничной палате, когда Люба была еще жива, не заполнялась ничем. Эта пустота клокотала, она держалась в коже его тела, она текла в крови и билась пульсом, она завораживала, как анестезия, лишая боли.

Он встретил тещу возле больничных ворот, он спешил после работы, задумав поймать главного врача больницы и заставить выписать его жену домой, где ей будет создан лучший уход. Он на ходу репетировал фразы, выдумывал оправдания, сочинял примеры и чуть ли не столкнул рукою тещу на тротуар, да тещи нашего времени цепкие — с ног не сшибешь, словом не покоришь, — теща вцепилась ему в рукав и запричитала:

— Витя! Витя! Любы уже нет. Постой, погоди. Она тебе говорила. Говорила? Мне тоже. Ты не тужи, сынок. Айда, устраивайся грузить. Или езжай куда. Я тут справлюсь. Не мужицкое это дело — баб обрывать...

Он понял и не понял. Он ненавидел тещу и обожал ее, но эти чувства были как бы с внешней стороны и вглубь не проникали. Пустота крутилась в нем, как ураган. Голова Виктора была явно шаткой. Он отшатнулся от тещи и пошел вдоль по линии к Неве. На счастье, народы не толпились по Четвертой линии, а редкие прохожие не мешали двигаться. Дошагав до Большого проспекта, не думая, Виктор свернул к рынку и наткнулся на такси. Что-то вроде мысли сверкнуло в его голове, он отворил дверцу машины и сел.

— Куда? — не поворачивая головы спросил водитель.

— Куда хочешь, — ответил Виктор.

Мужик что-то смекнул (Виктор увидел его отражение в зеркальце — решительные вертикальные складки между глаз, улыбка без оскала и ровная шетина на скулах), — он подвигал рычагом сцепления, качнул педали, заставил мотор завывть, затем на хорошей скорости рванулся по Большому проспекту к началу — к Академии тыла и транспорта, чтобы свернуть по Съездовской и гнать к Тучкову мосту. Там, у моста, Виктор закрыл глаза, разрешая телу ловить информацию движения. Может, он задремал. Сам он думал, что был в прострации — нигде, ни с кем, никак. Как долго это длилось, он не знал. Он раскрыл глаза, когда изменился звук снизу — под машиной, словно там было скользко. И это оказалось правдой — машина бежала по

наледи, посыпанной песком. Шоссе освещалось редкими фонарями и фарами машин. Вечер и зима были за стенами такси. Виктор велел остановиться, расплатился и вылез на дорогу. Уезжая, таксист крикнул:

— Станция в той стороне!

И рукой махнул на правую сторону от шоссе.

Тишина накрыла Виктора. В тишине пустота в нем стала неслышной. Воздух был легким и холодным, и каждый звук летал в этом воздухе четко, как летают в темноте светлячки. Он огляделся. Вокруг стояли корявые сосны — не густо и не редко. В ногах деревьев лежал плотный снег и мерцал. Виктору понравилось мерцание, но когда он перешел шоссе, оно угасло. Почему он перешел шоссе? Чтоб удалиться от станции. Вседвигающееся и живое казалось ему ложным и мешающим. Тусклый немой снег вокруг показался Виктору надежным соседом. Пройдя десятка три шагов, он различил низенький кустарник и двинулся напролом, то есть поперек, не петляя, не ища тропы. Ему стало зябко и показалось, что он весь уменьшился, а пустота в нем стала плотной, как материя. Тогда он напряг руки и плечи и задержал дыхание до тех пор, пока паника кислородного голодания не распахнула ему рот. Глубоко и часто вздохнув раза три-четыре, он почувствовал тепло и резкость — мышцы веселились, и никакого труда не составило идти дальше, не меняя направления.

Потом он увидел пустые ларьки, нагромождение скамеек, заваленное снегом, и догадался, что вышел на пляж. Границы пляжа было не разглядеть из-за темноты и еще из-за чего-то вещественного, но нечеткого, что располагалось впереди. Виктор пошел вперед, проваливаясь по щиколотку. Он к чему-то приближался и не знал — к чему. Линия над чем-то просветлела, а простор над этой линией стал темнее. И вдруг он увидел пласты льда. Какой-то теплый ветер пригнал воду — поднял прибрежный лед и сложил его вдоль берега, как слои сала. Потом приморозило, и на берегу встала стена ограждения, а за стеной... За стеной низко лежала большая вода. Вода была черна и краями сливалась с ночью над пляжем, но перед Виктором на некотором отдалении в воде светилось нечто непонятное, невнятное и как бы живое. Это не было сгустком света, это не было светящимся предметом, но это светилось,

словно отдельные частицы света плавали там и так, чтобы только Виктор их видел, чтобы он им удивился, чтобы привлекся... чтобы...

— Если меня зовут, — прошептал он, — то лучшего зова быть не может, но у меня стали мерзнуть ноги... Разве это не гадость, идти в глубь света с замерзшими ногами? Глупости бывают разные, но они должны быть приятны или не противны, иначе глупить не хочется.

Он очень твердо отвернулся от светящейся воды и тут же услышал голос далекой электрички. Виктор поднял взгляд над снегом и разглядел черную рыхлую массу деревьев без признаков национальности, окованную мерцающим серебряным блеском снежной коросты. Желтенький огонек в неведомом окне мелькнул и спрятался — то ли погас, то ли заслонился чем-то. Огонек показался таким теплым и таким материальным, что свечение воды, околдовавшее Виктора, показалось вымыслом. Он двинулся от пляжа, пытаясь идти вдоль своих следов, однако следя за следами, он упускал возможность видеть деревья и огоньки, а они прельщали его гораздо сильнее, чем пугало неведомое направление. И как заблудиться в пригороде, когда шоссе в нескольких минутах ходьбы, когда из тьмы ночи кричит электричка? Он бы забыл про свечение и про темный простор над водой, если бы вдруг не ощутил тяжелого взгляда, давившего ему шею и затылок. Что-то внутри Виктора дрогнуло — то, что мы старомодно именуем душою, — что-то на уровне солнечного сплетения свернулось в комок и забилося, как нарыв, — рывками. Простор тьмы и свечение не хотели отпускать его, он это ощутил физически, но именно поэтому стал сопротивляться — рванулся вперед от непомерного величия холода к милой суете ограниченного заботами дня. Он пересилил взгляд простора — он уходил, возбуждаясь своей силой, и почти вернулся к ощущению своего эго, но вдруг будущее показалось ему столь же беспросветным, как простор над водой, а под стеной простора мельтешили искры или отсветы чего-то, которые окружают человека мелочами забот. И шаги его стали медленней.

Раздумывая о том, что все же случилось на ледяном пляже, кто это мог глядеть ему в затылок, Виктор пришел к выводу, что у него и у темного простора состоялось знакомство, что они в

сущности являются разновидностями одного естества или одной души, что вода только отражает их единение. Он понимал, что посягает на величины, запретные человеку, но не мог себе отказать в любовании широтой мысли, а когда эта широта как бы сжималась, он являлся к морю в месте того пляжа, куда привел его случай.

В тот вечер он бежал по шоссе, сильно наступая на асфальт, чтобы от ударов ступней согревались ноги. Потом он почувствовал провалы в массе деревьев и подумал, что это напоминает воздушные ямы в полете — их можно предчувствовать и нельзя видеть. Рыхлые объемы напоминали некие опорные формы, которые хотелось установить ощутимыми плоскостями. Он прикинул, как строит эти формы из огромных листов и гигантских труб, и его воображению тут же откликнулись желтые огоньки. Их было множество, этих желтых огоньков, по крайней мере, больше десятка. Каждый приманивал. Каждый подмигивал. Их лучики осыпались на снег. Виктор выбрал один огонек, котрый не то чтобы был ближе иных, но светился как бы крупнее и четче, и направился на этот свет напрямиком. По счастью, напрямиком было идти легко, потому что под ногами была натопанная дорога. И огонек оказался не самым близким, но самым сильным, потому что вокруг электролампочки был рефлектор из белой жести, это Виктор разглядел, подойдя вплотную к забору, на столбике у которого сияла лампочка. Рассмотрев лампочку, он стал разглядывать забор и дом за забором. Окна в доме были волглы, черный пунктир тюля едва различался сквозь туман на окне.

На что решилась душа в нем? Что ждало его тело? Куда влекла его веселая мысль в столь мрачный день жизни? Он бы не дал никакого ответа. Он поступал не автоматически — он поступал в ясном сознании, прощая себе почти что неприличную выходку... Он отворил калитку и взошел на крыльцо. Ни секунлы не думая, потянул дверь, и дверь поддалась без скрипа и сопротивления, словно дверь ждала его. Он шагнул в пустой и темный объем прихожей. Из прихожей была видна дверь с матовыми стеклами — там было светло, так он подумал. Решительность его иссякла, а граница ощущений растаяла. Стыдясь неведомо чего, он укорял себя и хотел было отступить, и ногу поднял над полом, как вдруг услышал, что

открывается стеклянная дверь, а из-за двери звучит женский голос:

— Ты замерз? Иди скорее... Я давно заварила чай, и ужин будет скоро готов. Слышишь?

Он мученически проделал три тупых шага и остановился в дверях. Навстречу ему глянуло милое лицо, с которого сползала улыбка, сжимая рот и обнажая черно-серебряные глаза. Она замерла в незавершенном движении — ее рука несла заварной чайник, рука дрогнула, носик чайника клюнул вниз и уронил струйку коньячного цвета. На клеенке стола струйка чая стала лужицей, он видел все это мгновение за мгновением и с места не сходил.

— Вы кто? — чуть слышно выдохнула она.

Виктор только плечами пожал — что тут скажешь? Он не знал, как объяснить себя, но он не хотел тут же уйти. Краска стыда полыхнула по его щекам, он почти успел превратиться в обычного человека, который допустил стыдную неловкость. Только упрямство, которое можно бы назвать теплом чужого угла, держало его у двери. Она сразу разглядела смущение и неловкость странного гостя и стала смелей. Поставила чайник на стол, выпрямилась, разминая кисти рук, и спросила:

— Вы умеете разговаривать?

Он улыбнулся и не ответил.

— Объясните наконец, кто вы? — потребовала она и отчего-то добавила: — Я вижу, что вы не грабитель. Я вас не боюсь. Входите, если вошли, не стойте на пороге — не студите комнату. Хотите чаю?

Ее голос разрешал ему греться и оправдывал его вторжение, а заварной зеленый чайник привлекал взгляд Виктора. Лицо ее он видел как бы в тумане, как бы со стороны, как бы в иной реальности, которая нависала, накрывала обыденность комнаты.

— Простите меня, — трудно выговорил он.

— Я это сделала минуту назад, но вы отмолчались. Что ж теперь?

— Я хочу чаю, — сказал он.

— Пожалуйста. У меня есть большая кружка. Мужчина должен пить из емкой посуды, не правда ли? По внешнему виду вы вполне мужчина, садитесь, пейте... И говорите.

— Я убежал от моря, — сказал Виктор. — Оно жутко. Оно заманивало меня. Трудно было отвернуться... Спас ваш огонек. Он был сильнее других огней, спасибо вашему рефлектору...

— Какому рефлектору? — удивилась она.

— Жестяному. Он сильно отражает свет. Случайность сильного отражения была мне путеводной звездой. Честно, я молился вашему огоньку, он был сильнее воды и сильнее простора. Вы не беспокойтесь, я сейчас уйду.

— Это будет смешно и прилично, поэтому задержитесь. Пейте чай, грейтесь и рассказывайте, как вас напугала вода. Итак, вы убежали от...

— Я бы выпил чаю... Однако чай предназначался не мне, значит, мое желание почти воровство. Кроме того, мне сегодня не хочется разговаривать. Что-то внутри меня сместилось, погнулось, испортилось. Я делаюсь иным в каждую новую секунду. Я аморфен, как вода, и, как вода в море, неясен. Трудно говорить о себе, когда не знаешь себя.

— О, вы разговорчивы! — воскликнула она, наливая фаянсовую кружку чаем. — Присядьте.

— Вы меня упрекнули...

— Оказывается, вы капризны, а капризные люди — избалованны. Только не стучите ногами и не устраивайте истерики, я не верю истерикам.

Виктор глотнул чаю и обжегся. Он поставил кружку на край стола, а сам тянул воздух сквозь зубы — остужал язык и нёбо.

— Чайник только что вскипел, я забыла предупредить, — сказала она, отодвинула стул и присела, не опуская взгляда.

— Я сам виноват, пожадничал. Жадность наказуема, тут мне не на что жаловаться.

— Я знала, что одним словом вам не ответить!

— Потому что меня манит разговаривать с вами, — сказал он. — Не думаю, что у вас есть такое намерение — заставить говорить, но у вас есть некое притяжение, мои слова выскакивают, словно притянутые магнитом...

— Если вы будете льстить мне, я стану кокетничать, — сказала она.

— О нет!

— Что — нет?

— Не надо кокетничать, это чудовищно, это подобно предательству.

— Боже, какие страхи этой ночью! От колдовства до предательства, а мы всего-то пьем чай. Вы согрелись? Тогда считайте, что околдовали меня. Снимите свой плащ, пейте чай и продолжайте разговаривать. Меня зовут Линда. Многие знакомые опускают букву «н», чтобы имя звучало более привычно. А как вас зовут?

— Виктор, — проямлил он.

— Очень приятно слышать. Продолжайте.

— Я не могу. Мне хочется обращаться к вам по имени и отчеству.

— Это будет лишним. Я стану неуверенной, как Золушка на метровых каблучках.

— Вы очень милая собеседница, — сказал Виктор.

— Опять лесть, опять комплимент. Вы не победитель, а совратитель...

— Я — трус. Представляете, до сего дня я об этом не знал. А вышел к морю, увидел свечение во тьме и перепугался. Это чудо, что ваш огонек у калитки сильнее других. Я поддался зову. Я бы сошел с ума, если бы он вдруг погас.

— Опустим это место вашей биографии, вы уже говорили, что рефлектор сделал что-то такое, что уму непостижимо. Откуда вы взялись в нашей местности? Почему вы пришли к морю?

— Это совсем просто и коротко. У меня умерла жена... Утром, вероятно. Или ночью. Я этого не понимаю, но во мне полно ничего — полно пустоты. А теща прогнала меня от больницы... Тещи — такая прослойка населения, где человеку нечем дышать... Когда она меня схватила у ворот больницы, пустота во мне стала колючей. У каждого есть внутри болевые точки, но у меня они болят, когда мстят мне, дышать делается трудно. Нужно что-то делать, чтобы освободить дыхание. У меня не было никакого плана на секунду вперед — просто болело. И вдруг такси. Я влез и уснул там. Потом очнулся — ночь, холод, снег. А в городе — весна. Мне не хотелось ни весны, ни людей. Пошел в пустоту, а вышел к воде. Море светилось. Чем? Почему? Не знаю. Хорошо бы уйти в тот свет, но очень холодно. Я отвернулся от воды, а она стала смотреть в мой затылок.

И я побежал. Перетрусил и побежал. Если опять такое случится, опять убегу. Мне не стыдно — мне страшно.

— Вы сказали, что у вас умерла жена, это правда?

— Да.

— Вы подозрительно спокойно перенесли смерть жены.

Тещу бы — понятно, но жены... Вы любили ее?

— Я люблю ее! — выкрикнул Виктор.

— На пошляка вы не похожи, но и в вашей порядочности теперь сомневаюсь. Разрешите мне быть негостеприимной. Уже довольно поздно. Я не могу оставить вас ночевать, потому что вы меня смущаете. У вас нет дерзости, но мне кажется, что вы — лжец. Если хотите попасть на последнюю электричку, допивайте чай и бегом на станцию...

Виктор словно очнулся. Нелепость его появления в чужом доме, жалобы на судьбу, страх нестрашных вещей и её ироничность слились в одну тяжесть. Тяжесть все же не ощущалась грузом, она окружила Виктора как скафандром, в котором трудно идти, трудно шевелить конечностями. Пустота в нем присмирела, но не исчезла, а он подумал, что, вернувшись в город, найдет отдушину, выдавит ее вон...

— Простите...

— Не продолжайте. Идите. Пусть останется недосказанность. У вас нет никакой вины передо мною. Если соскучитесь, приезжайте, буду рада вас видеть, только не нужно больше сентиментальных ужасов про жену и воду. Хорошо?

— Спасибо, Линда.

— Не стоит благодарности, — сухо перебила она.

Уже стоя в дверях и чуть обернувшись, он сказал ей:

— Я серьезно благодарен вам и вашему дому за помощь...

Впрочем, все это чепуха.

— Не знаю, отчего я вам нагрубила, но мне стало лучше после этой грубости. Прощайте, Виктор.

Он быстро вышел и сразу окунулся в мир тьмы и холода. Вкус чая тотчас забылся. Комната, которую он покинул, казалась комнатой сна — комнатой во сне, а реальность плотным снегом лежала под ногами. Он впивался в темную реальность, он не хотел ночевать в пригороде, вокзал казался ему не местом, а символом, как распятие, которым отгоняют нечисть.

На электричку он не опоздал и замерзнуть, ожидая, не успел. В вагоне было довольно тепло. Пахло пылью и какой-то смазкой. Виктор сел на скамью и увидел себя отражением в окне — там, в отражении, была такая же реальность, как в комнате Линды, то есть более живая, чем в самом вагоне, и он отвернулся от стекла. Он задремал и очнулся только на Финляндском вокзале. Ночной час расквартировал население — по вокзалу слонялись редкие люди, как бы потерянные, как бы застрявшие, кому не хватало личной силы исчезнуть из недр вокзала. Себя Виктор не причислил к привидениям, он прошел к метро, он потек по эскалатору вниз, вступил в вагон, взялся за поручень и закрыл глаза. Жизнь возвращалась к нему знакомыми чувствами транспорта, знанием места, привычными предметами, которых и замечать не нужно — они тут, они служат, они упрощают: вот выключатель у двери, будильник на столике торшера, кровать, одетая одеялом. Любы нет, она не вернулась. А он — вернулся, он побывал там, где не нужно было быть, — он был уверен, что это произошло в ином измерении, что его визит в чужой дом есть выдумка...

Прошло несколько дней, заполненных так плотно чепухой, что запомнить было нечего. Виктор сознавал, что утомлен, что сонлив, что ему нет нужды ни в людях, ни в рассуждениях. Он был отрешенным от всего и в первую очередь — от себя. Ел он, потому что надо было есть, чтобы двигаться. Зачем надо двигаться — он не спрашивал у себя, просто живому нужно есть — нужно топливо, как мотору... как в песне: когда бензина нет, машина не пойдет. Он донимал себя фразой из юности — фразой из песни, он самому себе показывал беззначность человека, если этого человека считать беззначным.

На работу он переустроился и не считал это глупостью. Работал он грузчиком в хозчасти завода, потому что каталом его не взяли. Катель — это не профессия, катель — это заработок, каталю нужно катать тележки с горячим после отливки металлом. Жар от литья дикий, а тележка нагружена до тонны — надо жилиться, чтоб двигать. В отделе кадров его посчитали за рвача и, шутя, предложили:

— Если хотите тяжелого труда, идите грузчиком в хозчасть — платят мало, а грязи много. То, что вы ищете, да?

Виктор усмехнулся и согласился.

Замдиректора по хозяйству был мужик простой, перед каждым инженером чувствовал себя неполноценным и не упускал случая показать, что образование еще ничего не значит, мол, нужно голову иметь, соображать, а для этого диплома не надо. Звали начальника Иваном Васильевичем, но ни один человек этого не произносил, словно он был безымянным, зато каждый знал, что Лadoшкин — хозяйственник, главнейший дворник, начальник кладовщиков и погоняла грузчиков. Так и звали начальника — Лadoшкин. Может быть, умысла не было в таком упрощенном имени, но Иван Васильевич обижался на это, как на кличку. Виктора Журавлева он не полюбил с первого взгляда — что и любить-то? Мужик здоровый, а ручки беленькие, как у балерины. И Лadoшкин стал посылать Виктора на самые грязные занятия — работать при столовой, грузить смазочные материалы, а к вечеру рабочего дня посылал подметать фабричные дворы. Виктор не возражал и не упирался — какая разница, чем заниматься, ничего не делая? Ведь погрузка чего бы то ни было не является человеческой работой, это как физические упражнения на утренней гимнастике, которая затянулась на весь день. Задышавшись от кислого духа пищевых отходов, он мыл бачки, а вспоминал запах смерти в больнице и думал, что разница между живыми и умирающими состоит в разнице запахов. Любу он не вспоминал, а чувствовал, словно в его теле поместились два человека. Им даже не нужно было разговаривать — всё было слитным, одинаковым, постоянным. Однако на пятый или шестой день он вошел в ритм погрузки и чистки, почуял разрывы, когда труд не касался существа, и осознал, что способен на рядовые поступки человека, способного к самопроизводству, следовательно, способному на увлечения и шалости с противоположным полом. Виктор сперва удивился этому, но ненадолго. Он вспомнил фразу из романа, мол, живая душа калачика просит, и улыбнулся. Линда вернулась в его память более реальной, чем она была при встрече зимней ночью. «Любопытно было бы с ней поговорить, — подумал он, — она прелестна...» Но в воспоминании лицо ее не проявилось, а явилась тьма простора и черный глаз воды, в глубине которой что-то светилось. Он решил съездить к морю — проверить свои ощущения. Ему чудилось, что за эти две с гаком недели ничего не изменилось в том пригороде: лежит тусклый снег, море отде-

ляется от пляжа слоями льда, а в широкой промоине за льдом мерцает свет.

Закончив рабочий день, он отправился в баню — в парилку, где истязал себя березовым веником не меньше часу. Потом он обедал в столовой и прямо из столовой пустился к метро, чтобы попасть на Финляндский вокзал. Эти весенние дни изменили сущность времени — вечера растянулись, темнеть стало после десяти вечера. Он прибыл на платформу в пригород, где проживала Линда, засветло. Он отправился к морю сквозь поросли кустов, пересек шоссе, вышел к пляжу. Снег с песка стоял, но по теням у кустов еще лежали пятна наледи. Он двигался по плотному песку быстро — он ждал, что встретит стену льда. Ничего подобного не случилось. Море слабо шумело, льды сошли на нет, легкий ветерок носился вместе с чайками и, кажется, кричал чайным голосом. Ветер начал набирать силу к сумеркам. Виктор смотрел вдоль поверхности моря, над которым тянулся не менее плотный простор облаков или туч. Море ничего не отражало, оно казалось неживым. Виктор подошел к краю воды и заглянул вглубь с высоты своего роста. В глубине что-то сияло так отдаленно, так неясно, словно выдумка, лишенная смысла. Тогда он перевел взгляд вверх и стал рассматривать тучи. Где-то у запада, в стороне заката, увидел он прореху, не шире ладони, что ли, и стал улыбаться — вот она, разгадка свечения! Это свет неба уткнулся в воду, это отражение света сияет в глубине. Никакой тут нет приманки человеку, никто и в тот вечер не улавливал его, Виктора, это ему почудилось, потому что был он наполнен пустотой утраты, был подчинен случайностям и не мог сопротивляться даже намекам на живую силу воды и простора. Надо грузить, надо ворочать грязь, надо устать быть животным, чтобы найти милую реальность существования. Он стал всматриваться в воду, ища клубок свечения. Он словно втекал внутрь воды. Он придвинулся к поверхности моря с наклоном так, что в отражении появилась его голова, окруженная свечением. Он отпрянул: реальность становилась волшебной и завлекала войти в это волшебство — соединиться с ним, чтобы вместе переживать свет и мрак.

— Я не так уж смел и не очень глуп, чтобы поддаваться игре, — сказал Виктор над водой и не почувствовал фальши. Зато он почувствовал игру, он разрешил себе играть. Почему

бы нет? Он оказался выброшенным из жизни, которую строил сознательно, которую строил с первой встречи со своей любовью. Он не хотел потерь, не выдумывал утрат. Так случилось. Живая масса людей не привлекается отдельными единицами — не учитывает их или учитывает статистически. Никакого Журавлева нет, есть вдовец, а в графе, где помещены семейные, уменьшение на единицу. Такова жизнь в массе. Если ты сопротивляешься этой простой реальности, то вся ответственность будет на твоей душе, — так он подумал, и мысль не испугала его.

Очень медленно Виктор ушел от моря к станции и сел на платформе, ожидая электропоезд. Он помнил, как недавно бежал сюда по снегу, как радовался пустому вагону, как он был благодарен тому огоньку с жестяным рефлектором, который приманил его в тепло. «Она мила, — подумал он про Линду, — и сложена неплохо. Закрутить бы с нею, да скучно это. Все же человек узнается по человеческим признакам, а не по животным. Нужна мне женщина? Нет. Мне нужна Люба».

— А поиграть все равно хочется, — вслух сказал он.

— Вы хоккеист? — спросил сосед по скамейке. — Сезон-то заканчивается, теперь надо про футбол думать.

Сосед был не старше Виктора, но обрюзгший и, кажется, лысый — волосы у него были зачесаны поперек головы.

— Футбол — дело администрации, — ответил Виктор, сосед понял и рассмеялся.

— Вы запишите это, — сказал он. — Наша администрация действительно играет в футбол все четыре сезона. Можно подумать, что администрацию специально учат футболивать, а на самом деле не учат, просто условия таковы, что клиентов или пациентов гоняют из угла в угол, как мышь по квартире.

— Запишу, — кивнул головой Виктор.

Он вдруг загорелся: как это он упустил такую возможность — написать Линде? Лучшей игры даже выдумать невозможно.

— Пойду, запишу, — сказал он соседу. — Мне не терпится.

И ушел с платформы в зал ожидания, где делать было нечего, но никто не отвлекал разговорами, потому что у кассы и на скамьях не было ни одного человека. Подобрал со скамейки газету, Виктор сел в уголок и сделал вид, что читает, — засло-

нился бумагой. Газету он держал вверх тормашками и не замечал этого, зато образ Линды явился, как во сне, раскрашенным тусклыми цветами. Он долго искал первую фразу своего письма, пригодную видению Линды. Такой женщине с бухты барахты не напишешь — высмеет. Ощущение в нем сидело твердо, он решил использовать эту твердость как предмет, от которого можно оттолкнуться. Не зря же говорят, начинай от печки! Что печка для нее? Вероятно, интрига. Попытаемся ее заинтриговать... Он подумал так, и первая фраза вскрылась из глубины намеченной игры:

«Если бы я мог дотянуться мыслью...»

Эту фразу он повторял весь путь до дома. Этой фразой он начал письмо, а начав, ощутил простор, который расстился перед словами.

«Если бы я мог дотянуться мыслью по ту сторону бытия, то позволил бы себе откровенность, которой боюсь наяву. Я вновь побывал у моря. Оно светилось. Оно опять светилось, оно светилось для меня. Так может светиться только дружеский привет издалека. Все слова — вздор, но я слышу твой голос. Свои слова я кладу на бумагу — звучит ли бумага? Море мне что-то сказало. Что? Не воспроизвести. Кожей знаю, что в глубине пространства живут и сплетаются нити наших энергетических путей, мы узнаем их отсюда — с земли проживания. Но узнаем очень редко. И все же вечность радует, как единство. Согласна? У меня чувство, что мы скоро увидимся. Бывает так, что приходит чувство встречи? Какая связь намерений и чувств? Что мы такое в этом мире? О, сколько вопросов во мне!

Виктор»

Не зная милицейского адреса Линды, он надписал на конверте свой адрес.

На работе он как бы отсутствовал — делал без азарта и старания, крики не воспринимал, отвлечения не испытывал. После работы побежал домой переодеться, а потом кинулся на вокзал, чтобы самому доставить письмо.

Дом Линды он нашел без труда, так как вид забора, почтового ящика и лампочки под жестяным рефлектором торчал в его памяти. Виктор на секунду остановился и бросил кон-

верт в почтовый ящик, потом скорым шагом ушел. Заходить к ней у него мысли не было, больше того, ему не хотелось ее видеть.

Глава вторая

Она уставала.

Она уставала изо дня в день, словно не было у нее другого занятия, словно обдумывать усталость свою было ей жизненной необходимостью. Причина уставания была ей недоступна — она не совершала ничего нового и ничего такого, отчего бы чувства могли переполниться. Она жила обычными днями, суется, как все, трудясь за заработок, отдыхая по выходным дням. Прежде усталось не показывалась в ее теле. Откуда она взялась, эта усталость? От воображения. Нет, от следствия по стопам воображения, то есть от письма, которое возбудило его. Усталость появлялась без предупреждения, она словно вставала рядом, как соседка в очереди за продуктами, поэтому Линда улыбалась — как соседке в очереди, с которой была на равных, пока была вместе. Разница лишь в том, что вежливость допускает безразличие друг к другу обеих сторон, а Линда была заинтересована усталостью, не зная какой формой знакомства обернется ее усталость — блаженством ли, тонкой болью в груди или мягкой грустью.

Вернувшись с работы, она обычно заглядывала на себя в зеркало и тотчас подмечала следы усталости, и, если лукавства в отражении не было, Линда отворачивалась, принуждая себя варить еду, прибираться, приготавливать (выбирать и гладить) одежду для завтрашнего дня. Ворох забот отвлекал от усталости, не зря говорят, что клин вышибают клином. Но довольно часто в зеркале она видела свои лукавые глаза, свои лъстивые глаза — глаза, способные завлекать ее плоть в игру любования. Тогда она медленно раздевалась и медленно поворачивалась перед зеркалом, следя линию тела, восторгалась правильности абриса, и объем форм ей виделся прельстительным.

— Разве можно быть безразличным к такому телу? — спрашивала она отражение и различала веселье лукавых глаз, а озорных улыбок не считала. Иногда прелесть видения себя казалась прохладной — скульптурной, что ли, то есть не очень живой, и

это огорчало её. Отвернувшись от зеркала к стене, она ложилась поверх покрывала на широкую кровать, чуть содрогаясь от неживой прохлады полотна. Она закрывала глаза и сразу чувствовала покачивание ложа своего, которое не сопротивлялось ее тяжести, а втиралось в пространство комнаты так, чтобы не разрушилась связь вещей, созданная вкусом владельца. Покачивание вроде бы успокаивало раздражение, надо думать, убавляло. Мы, люди, все же дети от рождения до смерти своей, только нам хочется метаморфоз возраста, мол, в юности мы такие, а под старость... Однако личины выдумки нас не спасают. Линда знала это — додумалась, но ей не хотелось оставаться в детстве — она для себя выбрала вольную юность и старалась держать образ юности на вооружении в любую минуту.

Уткнувшись в покрывало, она как бы видела своей кожей — как бы жила в составе вещей своих предметом, и стены склонялись к ней, потолок обещал свободу дыхания, а кровать, получившая поддержку друзей, переставала качаться и теряла прохладу поверхности. Линда переворачивалась на бок и забрасывала руку за голову — именно с рукой, заброшенной за голову, принято мечтать лирическим героям романов и повестей, она считала себя героиней, и романы у нее случались, правда, не обогащали ее, но и не обкрадывали. Это, вероятно, случайность, что в настоящем романа у нее нет, а усталость — есть, и такую аномалию надо разобрать по косточкам. Оно начинала задумываться о себе и об усталости, но тут обращала внимание на вопросительное положение руки под головой. Что есть местоположение руки? Какое дело потолку до руки ее? Что он смотрит насмешливо?

О потолке ей думать не хотелось. Про руку она могла сказать что угодно — назвать конечностью и даже инструментом, но чувствовала свою руку лентой, лаской и даже лебединой шеей. Она бы никому не раскрыла, что влюблена в свои руки, ведь для жизни достаточно. чтобы рука функционировала — хватала, носила, стригла, причесывала. Но что такое жизнь, которой достаточно функции? Что такое наша жизнь, если усталость может обрести отвлеченное и независимое существование, казаться соседкой и даже подругой, не заботясь о природных свойствах конечности? Вот она — рука... Рука задает вопрос, она говорит об усталости, которая как бы лежит рядом... Что

же такое жизнь? Есть ли это движение светил в четком хаосе космоса или случайная улыбка условий определенной среды для произрастания кристаллов, которые, в свою очередь, станут средой бытия простейшим организмам? Кто же определяет условия? Почему они называются средой? У Линды, например, одни понедельники до самой пятницы, всю пятидневку можно вычеркнуть из календаря без находок и потерь. Жизнь начинается в пятницу... О, если б у нее было семь пятниц на неделе! Так невозможно это, условия Времени не позволяют. Откуда условность условий явилась? Что есть Время? Какую органическую жизнь порождают неорганические кристаллы? Чьей волей сочленяется нужда в жизни? Чем различается ткань мироздания от материала её, Линды? А если не различается, то как понять существо жизни? Что она такое — жизнь? Если это сладостное томление в коленях, если это томная слабость рук, то откуда прохлада, откуда холод, откуда одиночество, черт его возьми?! Может, агрессивное чувство голода есть жизнь? Или это гармоническое совокупление безумно малых и невесомо великих, необъятных величин, крутящихся вокруг острого центра сознания? Если так, то что же есть жизнь обособленного существа, наделенного толикой разума и ограниченного непрерывной переменой чувств? Что есть жизнь для брэнного тела — промежуток? Разве это не издевательство над умом личности? Разве можно считать жизнью случайное проявление сознания, пребывание в нужде и заботе и уход в никуда, и все это едва заметно со стороны, все это необязательно, неопределимо и беззначно в мире безграничных конструкций?

Она ужасалась мыслям и не могла их остановить. И каким бы ни навязывался ответ на затеянный вопрос, какой изощренный смысл ни вносила бы она в расшифровку своих поползновений, результат не давал ей удовлетворения. Вопросы возникали снова, вопросы повторялись, ничего не меняя и не подсказывая, для чего ее сознанию суждено проявиться в женской сути в каком-то медвежьем уголке Вселенной, где трудно даже фантазировать о безмерных явлениях странного мира.

Когда ее мысль начинала скачки от мизерного к великому и безграничному, паническое беспокойство вторгалось в каждую клетку ее теплого тела. Ей являлись видения небывалых

тварей, произраставших друг из друга, способных к мгновенному росту и сокращению, кишаших вокруг так настырно, что ее тело само обретало способность к превращениям — кажущаяся способность, но допустимую воображением, и поэтому не менее реальную, чем мебель вокруг. Рука ее как бы увеличивалась, а увеличившись, делалась самостоятельной — отделялась разумом, сохраняя возможность зрительного контроля. Рука проживала, действуя, и каждое действие было неожиданным по силе и направлению. В такие мгновения ужас безумия отгонял от нее сон, взвинчивал силу мышц, разогревал кожу чуть ли не до ожога. Она вспрыгивала с кровати, с легким головокружением от резкого броска, нелепо размахивала руками и ошупывала саму себя, а потом таращилась в зеркало. Однако, встретившись в зеркале взглядом со своим отражением, убеждалась, что ничего не случилось — она есть она, прелестное ее тело золотисто, линия его рисунка увлекательна — безумие только мелькнуло, утрашая, чтобы запретить ей бесполезные игры с мыслью о том, что понять невозможно. Так усталость пугала и поощряла Линду.

Но иногда усталость превращалась в ленту воспоминаний, подобную тихой реке, по которой она плыла под парусом памяти в безвременье. Берегов у памяти не было, грезы смешивались мечтами, а ушедшие предметы делались элементами контура будущего. Река памяти выносила ее в простор лилового моря, окаймленного горячей землей, в небе метались блестящие молнии, рассыпая по водам охапки цветов, и рябь в воде напоминала поцелуи... Грезы случались тогда, когда Линда сама определяла точку отсчета, мол, я устаю с тех пор, когда он появился на пороге. Она тут же умозрительно уточняла ситуацию — устаю с того мгновения, когда догадалась, что он уйдет, не тронув даже за руку. Ее воображение было активней внешних проявлений жизни, но именно эти внешние притяжения она пыталась подчинить себе.

Собственно, до поры его появления у нее жизни как бы не было вовсе — были понедельник даже по пятницам, но были окна во Времени — дни отпуска, которые вырывались из привычного быта, унося ее тело на юг под жаркое солнце Крыма или Кавказа к Черному морю, где четыре недели даже не нужно думать о чем бы то ни было — только отдыхай! Только люби!

Только используй! И — только не помни. Это собирало и прятало впечатления, не зарисовывая деталей, поэтому четыре недели превращались в сказку отдыха и свободы.

И вернувшись с югов, она вела легкую жизнь, попадая в приключения без навязчивой ответственности за поступки. Эпизоды из бульварных романов как бы существовали во времени и пространстве для любого и каждого человека, только прояви внимание и зацепи... Были и увлечения — скоротечные, как чахотка, от которых во рту оставался привкус травной горечи, если быть чистоплотной, то привкус исчезает после полоскания рта. Ни особой радости, ни душевных терзаний она не знала до встречи с ним, а к механизму человеческих проявлений относилась без критики, то есть без злобы.

Нынче она вспоминала свою легкую жизнь, как вспоминают старые кинофильмы, где выступали некогда любимые актеры. Но сюжеты все перепутались, разбежались рябью по реке памяти, а вид ряби не воспринимается личным качеством — как не о себе. Так на кладбище мы видим надгробия — не о себе, но можно себя пожалеть, потому что кто знает, может быть, и надо мной положат камень, и слова начертят, и фото под стеклом укрепят. Мерзость, конечно, но вполне допустимая. Воспоминания!.. Какие тайны могут открыться в склепах воспоминаний! Какие бы ни были. Но они отнимут у забвенья шорох образа или абрис характера — хвала памяти нашей, нечеткому признаку вечности! Ей виделись осколки улыбок, отломы жестов, обрывки слов. Стыда об этом не было. Упрекая себя за бесстыдство, Линда опять обращалась к зеркалу, чтобы пробудить совесть, а пробуждалось любование. Это все еще сказка цеплялась за внешность, разрешая поступки и преступления: свет мой, зеркальце, скажи... Линда возмущалась собой, а глаза ее смеялись из отраженной головы. Нет, не может такой образ, какой показывает ей зеркало, быть негативным в чем бы то ни было. Ее образ способен к жертвенной любви, к любви без размера и ограничений, которой она наполнилась до горла и, может быть, до гроба. Она справедливо ждет награды себе, старомодно называя сокровище награды взаимностью.

Мысли о взаимности были тревожны и зыбки, укрепляя их фундамент, она применила финт — математический счет,

но тоже не четкий, а размытый, как тревога: с того мгновения, когда он появился...

Впрочем, она ошибалась в счете моментов или единственного момента, ошибалась, не думая об ошибке, не допуская ошибки, не замечая ошибки. Ведь до его письма она о нем и не думала. Она пережила первую встречу, как переживают страх — скоренько, торопливо. Она пережила влечение к нему еще быстрее — как только за ним закрылась дверь. Страх еще задержался, еще делал большие глаза, мол, надо же, занесло прямо в комнату чужака, он же мог повредить ее или уничтожить. Но она не верила своему страху и, оттеснив его смелостью разумного человека, затворилась в доме на все замки и легла спать, думая, что не отворит двери, если тот, кого она ждала, заваривая чай, соизволит приехать в гости. «Не нужно ни того, ни этого, — подумала Линда. — Один надоедлив, как комплексный обед в столовой, другой невозможен, а я — реалистка». Она нравилась сама себе, она себя похвалила за отповедь мужчинам, в которых не была заинтересована.

Реальная память началась с того момента, когда она, вернувшись с работы, автоматически заглянула в почтовый ящик на заборе у калитки. Писем она не ждала, но заглянула — вдруг! Это «вдруг» ждало ее — письмо. Едва прикасаясь, она двумя пальчиками вытянула конверт из нутра почтового ящика и — насторожилась. Сперва ее озадачил адрес на конверте — там был город, а не пригород, там был номер дома и квартиры, а под номерами нарисовалась фамилия — Журавлев. Такую фамилию она, разумеется, слышала, но ни в детстве, ни в юности не была знакома ни с одним Журавлевым. Что это — шутка? Только в доме, читая на ходу судорожные строчки письма, она вспомнила голос и взгляд случайного человека, вспомнила его плащ, вспомнила его ноги, носками вовнутрь, вероятно, от холода, когда хочется тереть ступни одна о другую, вспомнила его руку с кружкой чая — рука не дрогнула, когда он прихлебнул чай и обжегся... Это ли ее удивило, что не дрогнула рука? Или удивили его глаза, как у насекомого, широко расставленные и как бы независимые друг от друга?

От слов его письма веяло невнятицей чувств, он был явно растерян и расстроен, он потерял ориентацию в пространстве жизни своей, но видит Время и потекает вымыслам. Линда

могла бы утверждать, что влюбилась в Виктора Журавлева с первой строчки его письма, — так входит в нас чужая кровь, когда нам делают вливание крови, чтобы спасти от бессилия. В ней произошел сдвиг пластов Времени — тогда и сейчас, затем эти пласты распались в пыль, а река памяти наползла на эту пыль, закрепившись на условии, что «с того мгновения, когда она увидела его...», а до письма Времени вообще не существовало — она увидела его и письмо одновременно, а увидев — полюбила. Полюбив мгновенно, как взрыв, она устала. Она стала уставать каждый день, так устают матери за день тяжелого труда, когда пестуют грудничков, так устают от очарования, когда нет больше сил очаровываться сильнее, когда только сон беспмятства подкрепляет физическую работу.

В том, что она ответит на его письмо, Линда ни секунды не сомневалась. Мужчинам же надо потакать, не зря же он надписал свой адрес на конверте! И все же наиболее сильным чувством в ней над письмом явилась жалость, эту жалость она решила использовать для ответа, ибо жалось хоть и мила, но сохраняет нейтралитет — ей не хотелось сразу сдаться в плен... Ее жалость ей не казалась фарсом или карикатурой, у жалости были причины, правда, верилось этим причинам нехотя. Как верить, что у человека умерла жена, если он в этот же день отправился гулять к морю подальше от родного дома? Как верить ему, если он пишет чужой женщине, как своей жене, призывая тайные знаки общих понятий в помощь себе? Она решила сплести паутину слов с той же ловкостью и с подобным рисунком, если он не слеп, то поймет их общность. Линда написала ему:

«Трудно предположить, что письменные слова звучат, повторяя голос автора, и заставляют воображение искать черты памяти, чтобы воскресить образ, который скроен из мелочей — из шороха синтетической ткани, из скрипа половиц, из чайного аромата и невнятного признания (это про огонек спасения). Голос чудесен, он протекает сквозь преграды, пробивая стены Времен, и наполняет пустоту теплом. Слова заколдовали меня, я не могу не поддаться. Пропадаю в стороне, где нет солнца, где ластится синий ветер, где нежные волны. У ног могут расти травы, они еще не взошли. Ты можешь достичь меня, дотянувшись до песка у воды. Ты увидишь меня, если дотянешься...»

Письмо она написала вечером в пятницу, а на почту по-несла поздним утром в субботу. Опустив письмо, ей не захотелось вернуться домой — ее влекло за письмом. Она была готова сесть в электричку и пуститься в Ленинград, следуя по адресу, но справилась с таким желанием весьма легко, обругав себя дурой, бабой и шлюхой. Не суть ругани, а контраст с теми словами, которые она написала, остудили желание в ней. Она выбрала нейтральный путь — не домой и не в город, а по окрестности, куда глаза глядят, лишь бы двигаться.

Она двинулась по случайной тропинке между деревьев, пролегающей в тылах домов. Она не заботилась о направлении — зачем? — ведь проторенный путь для того и проторен, чтобы им шли, не думая о направлении. Мужики в деревне говорят, мол, куда кривая выведет. Кто или что кривая — скрывают, хотя обычно это оказывается старая лошадь, на опыт которой можно положиться, — в темный лес не затащит, с обрыва не сорвется. Доверие к местности оплачивается человеку — он как бы движется под охраной населения этой местности, если населением считать камни и деревья, кусты и травы и птиц, которые создали свои гнезда в округе. Легкая тропинка вывела Линду к дорожке не за спинами домов, а уже в редком лесу. По дорожке ходить легче — просторней, что ли, и она прибавила шагу, но дорога кончилась тупиком, уткнувшись в толстую березу. За толстухой была заросль и, кажется, болотина. Линда осмотрелась. На приземных корнях березы была устроена кормушка для птиц или для белок. На лотке кормушки рассыпаны зерна овса и сморщенные ягоды рябины. Почти у каждой ягодки торчал хвостик, поэтому рябинки напоминали сморщенных головастика. Линда присела и покатила пальцем одну из ягод. Но тут сверху слетела синица, быстро крутнула головой, потерла клюв о дощечку и скрипнула. Линда отдернула руку и подумала, что синица защищает свою столовую. Синица опять скрипнула и подпрыгнула к руке — только тогда Линда угадала, что птица требует добавочного питания.

— Глупенькая, — сказала Линда. — У меня ничегошеньки нет. Съешь меня! Смотри, какой аппетитный пальчик!

Синица взлетела. А Линда выпрямилась у березы и стала рассуждать, шевеля губами, — ее забавляло, что дорога закончилась тупиком. Лес не город, тут тупиков не бывает — не должно

быть, а тупик. Но дорога тут ни при чем, потому что дорога куда-то ведет, иначе ее бы не было. И, считая березу началом, Линда отправилась в обратную сторону, приказав себе на тропинки не сворачивать, пусть, мол, дорога тянется в сторону случая, потому что в стране случаев строят свои мечты люди фантазии. Кто знает, чем и где она может завершиться? Может быть, там в глуши или там на просторе рыщет он — человек с отрешенными глазами насекомого, он может ждать ее и чувствовать ее приближение. И ей нет смысла быть одной в белом дне, как нет смысла в темной ночи без него. Вдруг в том далеке есть хижина, избушка или шалаш, где должно быть сладостно, как в райских куцах. Она не имела представления, что это за кущи такие, но фигура речи была привлекательна неким обещанием, и временно ей было довольно пустого обещания. Она осудила себя за легкомыслие, но затосковала, и шаги ее стали сильнее и торопливее.

Она шла свободно, тоненько напевая слова о рябине, о белых цветах, и незаметно перепутала мелодию, вспомнив красные гроздья рябины. Ах, эта красная рябина! Она содрогнулась, осознав, что песенка выталкивает ее из жизни в невозвратную сторону, откуда видно не то, что хотелось бы чувствовать. Оттуда, даже если возможно видеть, выхода не найти, поэтому прощай... Прощания ей не мнилось, расставаться с мечтой о нем она не смела, и для чего расставаться, если он сам призывает? Ей остается поддержать игру, приспособить случай, раскрыть любовь и погрузиться в счастье. О счастье она тоже не имела конкретного представления, но оперировала словами об этом охотно, как всякая молодая и обнадеженная женщина.

Как ни странно, мечты и фантазии ее были обращены вспять — к тому времени, когда еще не существовало знакомства с Виктором Журавлевым. Она мысленно бродила в юности, которая казалась одним днем. Тот день растормошил чувственность, подарил бесстыдство, обаял услугами здоровья и сгинул. Обнаженная гордость вспыхнула запоздалой невинностью и подарила боль, которая стала дергаться в душе, как нарыв. Избавляясь от мучений совести, она смотрела на факты так, чтобы видно было как бы в полглаза, как бы только справа, словно податливости в ней не было, а любопытство не тянулось к ложным поступкам. Юность приняла такой вид объяснения первых грехов умысла и передала эстафету на будущее, чтобы

Линда могла уклоняться от каверз фактов и мнений прихоти. В этом виде думать про Виктора было романтикой, он ей представлялся бродягой, бредущим в диких краях под телом черной ночи. Для большей вещественности Линда часто закрывала глаза, и ночь воображения делалась темнее и материальнее. Надолго закрыть глаза она не умела — походка начинала качаться, пугаясь возможных помех — выбоин, корней, о которые можно споткнуться, и канав, где грязь, а не вода. Открытые глаза снимали головокружение и остужали тайные желания. С открытыми глазами она не могла даже вообразить тьмы, но воображала звезды рыжего цвета, как громадные веснушки. Лицо Вселенной в веснушках умилило ее, но само слово было не вселенским: веснушки, след солнца на полотне светлой кожи, они нападают на северянок, на блондинок и даже на брюнеток с детства, они веселят лицо до самой юности. А юность стыдится их, у юности есть мази и кремы, чтобы спрятаться от веснушек, потому что они, эти веснушки, придают женским чертам вид простоты, обиходности и повиновения. Нет, нет, это не для неё! Она бела, как мрамор, телесна, словно плоть, хоть в золотую раму ее... Линда тихонько рассмеялась, представив себя закрепленной в раме, открытой взглядам и доступной пальцам... Ей почудилось, что она сорвалась со стены и летит и то, что было одеждami, вьется вокруг и устилает плоскость падения. Она как бы упала на нечто, она ощутила упругость, и у нее перехватило дыхание...

Стыдно ей не сделалось, но воображение изменилось по качеству и понесло ее в лес детства, где она плутала в ягоднике, руки поправляли белый форменный фартучек, надетый поверх коричневой форменной юбки. Глаза ее были опущены к земле, а в груди билось упрямое сердце. Она ходила по лесу замкнутыми кругами, как на одном месте, и возвращалась к началу похода — к муравейнику, в котором ковырялась ивовым прутиком, а потом слизывала муравьиную кислоту. От муравейника ее тянуло туда, где сидел ОН — мужской человек, не то учитель, не то прохожий, и не обращал внимания на жеманницу. А ей хотелось больше, чем внимания, — ей хотелось приключения, хотелось ласки и силы и, кажется, запаха, который горчил. Он не откликнулся ей в детстве, и это невнимание зародило в ней мстительность. Вспомнив былые мечты, она вдруг устала. Это

была первая усталость как будто без причины. Линда бросила дорожку и напрямик вернулась домой, минуя канавы и дачи, ларьки и заборы. Она заглянула в почтовый ящик, словно уже пролетела неделя, но там письма не было — он еще не ответил. Где-то в глубине души она негодовала, дескать, мог бы уж — письмо-то дошло. Но письма не было и на второй, и на третий день. И на четвертый...

Дни росли, весна старилась. Все больше набегало светлых часов после рабочего дня. Линда гуляла вдоль берега моря по пляжу или между домов поселка, выбирая улицы поглубже — подальше от платформы, от рынка, от магазина. Возвращаясь, она заглядывала в почтовый ящик, а письма не находила. Ее пальцы уже знали наизусть шершавость легкой коррозии на стенках почтового ящика, они трогали металл, как трогают за руку приятеля, а письма все равно не было внутри его. В ней появилось нетерпение, и саму себя она считала помехой, чересчур очевидной и, может быть, опасной. Она стала раздражаться, думая о себе, и угрюмиться. Убегая из дому, чтобы освободить свое тело от излишнего окружения знакомых вещей, она пропускала почтовый ящик и стремилась убежать подальше за жилые дома в лес, где можно изматывать себя прогулкой, утомить себя так, что одиночество не всхлипнет от тоски, а нетерпение забудет про мечту.

Она теперь ужинала в привокзальном ресторане, где пахло солодом и сыростью, но было сравнительно чисто, где продавали черный кофе и повсеместно привычный рубленый шницель с гарниром и красным соусом. Красный соус у нее вызывал жажду, а горький кофе клонил в сон. После еды она шла кружной дорогой к дому, чтобы еще больше устать, чтобы не было раздумий, чтобы провалиться в сон. Иногда прогулки затягивались, она возвращалась в сумерки под шорох ветвей и хруст сучков, казалось, что за ней кто-то крадется. Она пугалась, но усталость отпугивала страх, напоминая, что рядом даже молодые хулиганы не живут — все молодые перекочевали в город искать надежд и заработка, а их постаревшие родители стали атрибутами своих владений — огородов и садов, у них даже голоса погасли — разучились кричать.

Добравшись до калитки, она заглядывала в почтовый ящик автоматически, уже не надеясь на письмо. Убедившись, что

почтовый ящик пуст, она как бы наливалась тяжестью, утрачивала интерес к миру вокруг и засыпала, едва касалась простыней.

Недели через две Линда по случаю оказалась во время прогулки на местном кладбище. Место захоронений поросло черными елями, шумными соснами и прирученным кустарником. Кусты сирени и бузины, боярышника и акаций прижились, как дрессированные, и расплодились без ограничения. Тропинки между могил были песчаные, красноватые, они не мешали ни траве, ни кустам с деревьями — это был симбиоз ландшафта, проживание с выживанием, зависимость и поддержка такой активности, что в некоторых местах растения одичали и слились (душой и телом?) с окружающим лесом. Линда осмотрелась, отыскала скамеечку под кустом собачьей розы и присела. Под скамейкой стоял веник-голяк, мол, замети свои следы, когда пойдешь прочь. Линда улыбнулась: ах, люди, все-то у вас похозяйски. Она погладила спинку скамейки, как приласкала, и закурила. Табачный дым после ходьбы казался токсичным — у нее закружилась голова при первой же затяжке. Она не бросила сигареты, а зажмурилась и почувствовала укачивание. Она подумала: «Как на волнах», — и открыла глаза. Скамейка стояла твердо. Листья едва шуршала. Дымок от сигареты таял. Кладбище лежало как ничейная земля или земля для всех — это не привлекает (сознание общей возможности быть здесь), и Линда стала смотреть мимо предметов — мимо крестов и колонок, и даже несколько задрала голову. «Все, что ни делается, все к лучшему» — повторила она в уме чужую фразу и беззвучно рассмеялась, ей не казалось, что умереть — это к лучшему: умереть неизбежно, следовательно, нечего с этим торопиться. А пока она молода и свободна, руки у нее не связаны ни семьей, ни обещаниями. Что же еще нужно? Мир существует исключительно для твоей персоны, для твоей неги или для твоего удовольствия. Все, что ты сделаешь, может быть оправдано тобой же, а посторонним до тебя дела нет. Вот ошибки покойных, вероятно, стоили им жизни, или возраст был так гнетущ, что не было сил выживать. Что же нужно сделать, чтобы получить гнёт? Что может быть ошибкой человека, если за это расплачиваются смертью? У нее, к примеру, полно желаний, но желания ее жизненны, они о созидании, они о соитии. Разве желание

создать жизнь может быть греховным? Тут наша мораль запуталась, наша нравственность завралась. Быть матерью не меньше, чем быть героиней, но труднее.

Ее мысли споткнулись и оборвались от возмущения. Она была поражена, что волей-неволей посчитала себя грешницей, молящей о всепрощении. Какой же грех, если живешь мечтою? Какой грех в воспоминаниях? Живешь животным — трудишься и ешь, чтобы есть и трудиться. Никаких развлечений до отпуска, как по программе. А люди-то еще осуждают. Еще подсматривают. Еще иронизируют. Что же это за среда такая, в которой я завязла навсегда? Я же непорочна! Правда, если сравниваться с другими, то можно заметить пятнышки...

Она заметила и не заметила, как у отдаленной березы появился человек без шапки в коротком плаще с воротничком из искусственного меха. Он улыбался отрешенно — улыбался никому, улыбался в небо. Она тотчас узнала его и не поверила тому, что узнала, — что это он. Ей показалось, что мужчина смотрит в ее сторону, и она сжалась, как спряталась в свою тень. Ради бога, только не на кладбище! Зачем он сюда приехал? Уж не выследил ли он её? Она молила, она молилась, в ней появился безотчетный страх — кислый по вкусу и вязкий. На глаза набежали слезы.

А Виктор Журавлев повернул в сторону вокзала, потянулся на голос электрички, он не спешил и не медлил, кусты перед ним расступались, а деревья шумели. Он скоро скрылся, тогда и Линда поднялась, жалея себя и недоумевая, отчего он не заметил ее. Она открыла сумочку. Вытянула пудреницу с зеркальцем и прихорошилась. Улыбка в зеркальце дрожала, поэтому Линда решила, что их улыбки похожи — солнечны и отрешенны. Она сделала шаг, подражая его шагу. С первого шага дрожь ожидания прокатилась по лопаткам её и коленям. Она снова шагнула, поймала ритм ходьбы, но почувствовала, что расстегнулась застежка на чулке, что если спешить, то придется скакать со спущенным чулком.

— Идиотизм какой-то, — прошептала она, но навела порядок в одежде и отправилась своей походкой, покачивая бедрами, к дому, не думая догонять мужчину.

Раздосадованная, она все же догадалась, что наступил ее день, потому что он приехал, потому что сегодня будет пись-

мо — это неизбежно. Радость была близко у сердца ее и подарила ей новые силы. Возбужденной и окрыленной Линда пустилась не к дому, а к морю — к тому месту или к той стихии, которая силой навела его на путь к ее дому. Даже в мечтах большая вода стала связующей канвой для нее.

У пустынного моря летали черные вороны, их крик придавал картавость хлипкому плеску волн. Пляж был пуст. Садово-парковое хозяйство еще не думало об устройстве мест отдыха трудящимся в летний сезон — скамейки лежали друг на друге, плевательницы тоже были свалены кучей, а у ларьков вместо стеклянных окон были фанерные бельмы. Она стала спешить — рваться к дому без дорог, её ноги попадали в низинки, где дотаивал снег, застыли и намокли. Она бежала в тени и ей казалось, что сгущаются тени, что прячется солнце, что из тьмы будут торчать глаза опасности... Она силой воли остановила панику, стала передвигаться замедленно и как бы лениво, убеждая себя обдумать случай встречи без свидания, что это не просто так, а как бы неуловимое нечто, стерегущее судьбу. От напряжения, с которым она управляла собой, тяжелая усталость наполнила ее тело.

Это была уже привычная усталость, она с ней знакомилась долго, а главное — ежедневно. Она привыкла рассматривать усталость отдельно от себя, как самостоятельное существо. Хуже того, если усталость была недостаточна, Линда ощущала как бы утрату, словно ее силой лишили заслуженного — обделили.

Она вернулась домой в мутных сумерках. Прикосновение к почтовому ящику пронзило руку, подобно разряду электричества. Чувства, загнанные в тайнички души, взметнулись и смешались, так что Линда не смогла бы сказать, что делала она у ограды своего дома — ждала или дождалась. В полубессознательном состоянии она извлекла конверт и спрятала его в карман. В дом она вбежала, переполненная сознанием: да, ей удалось выхватить у судьбы его письмо, что бы ни писалось там, но это к ней и, значит, это победа.

В комнате она бросилась на диван (на лету сбросила мокрые туфли, они глухо стукнулись о коврик) и почти уснула, коснувшись подушки, — ее тяжелая усталость отлила от тела и глаза увидели не то фантазии, не то воспоминания, так бывает в начальном сне, когда еще не понимаешь, что спишь. Но ког-

да над ухом прохрипел ворон: «Сумасшедшая!» — она очнулась. Она вскочила с дивана, нажала кнопку торшера и поглядела на свои глаза в зеркало. Всё было правильно — взгляд был ясным, грустным и проникновенным. Ни следа сумасшедшинки, ни налета неряшливости в облике. Правда, белое пальто ее было помятым — скомкано на лацканах, и мех выглядел затрепанным. Она сбросила пальто — быть неряхой нельзя даже наедине с самой собой. Потом рука ее залезла в карман пальто...

Письмо встретило ее пальцы, письмо ждало ее. От письма исходил некий ток или вибрация, но возможно, что задрожали ее пальцы. Она вытащила конверт и с испугом осмотрела его. Адрес на конверте был знакомый, она запомнила этот адрес, как стихи, для памяти которых не требуется усилий, они входят в состав нашей жизни, не паразитируя и не забываясь. Ее била дрожь, поэтому она прижала письмо к подолу и села под свет торшера.

— Не буду читать. Не буду читать. Не буду сейчас читать.

Так она уверяла себя, так приказывала и выполнила приказ.

Она что-то приготовила на ужин, а потом медленно разделась и легла в разобранную кровать. Грим еще был на глазах, но она и не думала снимать косметику — пусть глаза будут вооружены (или защищены) от случайностей. Потом она распечатала письмо и вдруг заплакала от полноты чувства, от любви, от тайны, от продолжения чего-то, что может изменить жизнь и обозначить новый путь судьбе. И еще она плакала от едкого привкуса недоступности — тут полоски туши потекли возле носа и она смело размазала их. Отдышавшись от приступа чувств, она стала читать дорогое ей письмо:

«Не знаю слов, которыми изображают горький восторг, — я полон им, как кровью. Имя твое пропало или распалось, только литая буква начала стоит символом, как страж. Издалека звучит голос родного дома, это шепот, это скрипы, это сияния звука. Как рад я видеть твои слова! Стремление букв обернуться звуками понятно, как воспроизведение интонации твоей речи. Ты пишешь из небытия, а меня заставляешь дышать сознанием трав и цветов, воды и огня и овеаешь меня прохладой расстояния. Даже если слова не имели бы смысла, одной графики хватило б, чтобы знать — мы вместе. Признаюсь тебе: меня

удивил секрет твоего письма. Оно секретно по внешности, оно загадочно по словам. Оба секрета имеют общий вид, хотя они не равнозначны. Штемпель почты кричит про реальность, а слова журчат о таинстве, о скрытности, о тумане существования. Черт с ним (или Бог?), мне все равно. Во мне начинают раскрываться смыслом некие аномалии, проясняюся догадки, и это не нарушает нормальности — не лишает сил, не мутит сознания. Если бы море молчало, я бы остался слепцом в глухом неведении о непрерывном потоке жизни, в котором протекает быть моего “я”. Слова о явном и слова секрета едины — ты пишешь, как шепчет море, а я вижу твой почерк. Эта связь выражения смыслом и рисунком роднит почтовую бумагу со мной и тобой. Небо над морем — простор — еще пугает меня, это выше разума и сильнее тела. Но к простору можно привыкнуть или — хотелось бы привыкнуть. Я прихожу к морю, или прибегаю, или приезжаю... Мне нужно его видеть. Узнавать, видя, это моя новость. Я только учусь смотреть, поэтому мало различаю в глазах воды, хотя мимика ее бесконечна. Над водой мне кажется, что рождаются звуки твоих слов. Начинает казаться, что смерти не существует вообще, что мы путаемся в различных понятиях жизни, не умея их разграничивать. Мы боимся разнообразия, которого не знали наши предки. Мы не умеем воспринимать бесстрашно фазы бытия, мы еще дикари, у которых то Бог, то Дьявол, за чью спину легко прятаться...

Теперь нужно набраться сил, чтобы слышать то, что вижу. Пока вижу только место, чувствую тебя там, но ты остаешься недосягаемой.

Думай обо мне, и пиши.

Виктор»

Линду бил озноб. Нет, не слова всполошили её — она прочла письмо не из-за слов, она искала между словами, за словами, там, где он вдыхал и лукавил, придумывая текст. Она узнавала его — человека, мужчину, стратега, охотника, а наткнулась на трагикомическую деталь: её почерк похож на почерк его покойной жены. Он просто идиот, он позволил себе обмануться и пишет не ей, Линде, а покойнице... Но пишет! И ещё привозит письма, бросает их в почтовый ящик чужого дома, а мечтает о встрече со смертью.

Она вторично прочла письмо. Во второй раз у нее не возникло ощущения, что он заигрался или запутался, перемешав измышления с реальностью. Его доверие ей и его подозрительность к своим мыслям очевидны. Случай почерка в ее пользу — таким инструментом легче подталкивать чувства. В конце концов, его надо завлечь, а для этого все женские средства хороши. И себе она выкроила комплимент из случайности — надо же, отгадала чужой почерк! Линда считала, что у нее почерк обычный, как у многих школьниц, которые прошли уроки чистописания как уроки графики — учась, и научились писать буквы одинаково, то есть похоже. Немудрено, что графика умения изображать отдельные буквы и их связь перешла в черты скорописи — в почерк, в ответ характера.

— Что ж он обо мне не написал ни слова? — спросила она у зеркала и увидела, что письмо выпало из пальцев, что фигура её стоит возле туалетного столика надломленной — того и гляди, рухнет на кушетку и письмо помнет... Глаза у нее были расширены — в отражении, она не чувствовала, что выпучила глаза, но чувствовала, что заревет, а косметика еще не смыта — растечется полосками. Оберегая себя, она вытаращила глаза.

— Что ты, мама, тарачишься? — сказала своему отражению Линда. — Лучше поплачь.

Она улыбнулась, и улыбка прикрыла веками её глаза. И тело выпрямилось, повело плечами, показывая грудь в таком ракурсе, который неизменно привлекает мужчин и в их глазах можно прочесть фразу: «Ничего себе!»

Линда развеселилась, подхватила письмо и присела на кушетку. Она прикидывала, что ей принесла победа. Первое, письмо. Второе, имя её — обращаться к человеку без имени так аморфно, что надо быть ледяной или незаинтересованной. Аморфность не для нее. Ей он жгуче интересен. Одни глаза чего стоят — отрешенные, словно обожженные безграничным простором, и заманивающие, как темная глубина колодца, куда невольно сталкиваешь камешек со сруба, чтобы услышать далекий плеск, как шепот. Она вспоминала его руки, белые и крепкие, и чуть ли не изнывала от желания, чтобы эти руки сжались на ее плечах. Вообразив его объятие, она сразу увидела улыбку на его губах — не ей улыбку, а всем улыбку. Его улыб-

ка, как морская рябь, бежит до горизонта и смягчает плоскость воды — это добрая улыбка.

«Это ловко, что я подписала свое письмо одной буквой, — подумала она. — Я-то не спутаю свой почерк ни с каким. Не очень красиво завлекать вдовца, так мы не напоказ... Мы тайно это, с интригами — среди шумного бала... Разве я не заслужила любви? Разве мой интеллект в такой плоскости, что на мою долю достаются обрывки чужих удовольствий? Сколько раз меня обманывали? Сколько раз я обманывалась сама... Сколько обманывала... Это упоительно — чесать, где чешется...»

Сравнение интрижек с чесоткой окончательно развеселило ее и она погладила письмо, как гладят кошку, уверенные, что кошке это приятно.

— Что же мне еще принесла победа? — зашептала она. — Ну, быстренько! Я же чувствую, что принесла еще что-то... Что же это?

Она распознала третью ветвь победы, она была рада, что именно это качество даст возможность ей и ему продолжить бег сближения. Он полон поэтичности, а Линда была влюблена в поэзию совершенно чистосердечно, она готова была жертвовать для поэзии на любом уровне, но в реальной жизни у нее не было знакомств с поэтами, а книги принимали только одну жертву — чтение. Можно сказать, впервые в жизни поэзия налетела на нее — принеслась письмом, подарила улыбкой. Превратить поэзию в оружие выглядит пошлостью, потому что войны между ними нет и нет фарса, мелькнуло только признание — он признал ее. Следовательно, ей нужно расставить свои капканы так, чтобы определенный поэтический ряд слов входил в его сознание тем настроением и под таким углом, что он наглотался бы вздохов, качаясь на волнах символов. Символы притягательны, она это знала. Поэзия символистов, как ни одна другая поэзия, поведала миру суть различия человеческой души с душою социальной, уравновесив их важность. Именно символисты поставили отдельную личность над пропастью, очертив безысходность и бесполезность её, и личность сказала: мне позволено всё.

Она несколько секунд поглаживала письмо, задумавшись, так казалось в отражении в зеркале, на самом деле древний автор был бы точнее, говоря, что растекаешься мыслью по древу.

Вольные волны мыслей бились в ней пульсом, и отдавались в самых неожиданных частях тела — вдруг затекла икра. Пока она массировала ногу, защемило под печенью, вероятно, от неловкой позы. Линда решила приструнить себя — не раскисать от мечтаний, не позировать себе перед зеркалом, а намеренно и, может быть, грубовато заняться домом — обедом, стиркой, глажкой, приготовить постель... а потом перед сном сесть к стролу и написать ему такое письмо, чтобы он прилетел, примчался или прибежал к ней, польщенный и готовый к любви.

Так она и сделала, но во время домашних хлопот она таскала и переворачивала мысль, что избранник ее несколько того — не в себе, что ли. Простор у него, и глыба Времени, и холод воды уж очень нигде, очень раскрыты, очень картинны, словно так и не бывает. На несколько секунд ей стало обидно, что поэзия его письма как бы обходит ее — окатывает и скатывается, как с гуся вода, и Линда ощутила слезы на глазах, но сбросила истому, вытирая посуду до скрипа. К столу она села уравновешенной и умудренной, как человек, у которого есть только один путь существования в данное время — писать.

Проходя мимо туалетного столика, она сказала своему отражению:

— В наше время любят деловых женщин, а тебя манит быть бедовой...

Её отражение молча раскрыло рот — это было смешно и нелепо, Линда редко чувствовала свое единство с отражением в зеркале — там чего-то не хватало, там было обилие глубины, окружение, тени, как в омуте, себя-то она чувствовала светлой и объединяющей разноголосицу мебели и вещей. Однако Линда отметила, что женское лицо есть все же она — телесность там видна знакомая, понятная, а контуры фигуры очерчены такой линией, которую она чувствует каждым шевелением мышц — так шевелятся волны хлебов от летнего ветра. Ей понравилось сравнение своего тела с землею, с полем и небом, прежде она думала о себе скромнее, значит, новое осмысление себя пришло к ней от его письма и, может быть, от его сумасшествия. Поэзия — всегда сумасшествие, если ты не оглядываешься по сторонам, сравниваясь с другими.

Она села писать за обеденный стол — места под руками больше, и эта жадность к размеру места, эта плотность, с ко-

торой она заняла позицию (как окопалась!), подарили чувство твердости и владения, это чувство она опустила на слова.

«Страна небытия — моя страна, — написала Линда. — В моей стране существуют неизъяснимые возможности слышать, видеть, осязать и любить. Море смиренно. Волны, которым ты доверил мою охрану, не шумят, не злятся и не покидают меня. Туда, куда смотрят мои глаза, идет свет, а за спиной живут полчища звезд — там ночь. Друг мой ветер шалит возле меня, не досаждая. Неужели ты сговорился с ним? Ветер не оставляет меня без внимания и не навязывается. Ветер приносит мне голоса побережья — скрип елей, шорох бородатого лишайника. Дятел выдолбил дупло и улетел. Белка заняла место — принесла шишку, но ее испугнула куница. Белка метнулась ввысь, к вершине, перескочила на сосну, потом на другую и скрылась. А куница не охотилась, она устала, она окунулась в дупло, как в сон. Не успела я расслушать повесть о белке, кунице и дятле, как ветер принес гудок пузатого буксира и вопли чаек. С голосами прилетели запахи смазки, топлива и гари, значит, весна открывает навигацию на Неве — время пришло. В моем пустынном море вот-вот появятся тени пароходов. Взгляды туристов покачут по волнам, их голоса привлекут рыб. Как случилось так, что Простор не помнит тебя? Как понять, что море не доносит мне твоих звуков? Только в зените чувствую выражение твоих глаз, но зенит излишне ярок, он слепит, я опускаю голову, и мой взгляд плывет туда, откуда, должно быть, приплывешь ты. Не ты ли кричал буксиром? Не для меня ли? А чайки — просто завистницы...

Жду тебя, Л.»

Она отправила письмо утром в городе, когда бежала на работу. Она знала, что он ответит, что между ними началась переписка. Переписка — тоже победа, ибо обещает постоянство до тех пор, пока встреча лицом к лицу не заменит бумажных разговоров. Она просчитывала, сколько ему нужно будет времени на ответ, предполагала случайности и перепады настроений, но решила, что двух недель довольно, если его достанет её письмо.

Через две недели (был пасмурный день с протяжными ветрами и ледяным дождем — не то шел ладожский лед, не то зацветала

черемуха) Линда под благовидным предлогом сбежала с работы на два часа раньше, ей не терпелось вернуться домой и захватить письмо, чтобы раскрыть, чтобы принять новую волну любви и взаимосвязи, чтобы различить хоть след надежды на влечение к встречи. Где-то в очень темной глубине сознания она допускала, что ее Виктор играет словами с такой же заманчивой легкостью, с которой она пытается завлечь его. Допускала, что сама переписка — знак случайности, блеск помутнения сознания от боли, суть которой она не могла знать. Однако мы разрешаем себе запретные для других игры, и Линда разрешала себе слепость увлечения на равных с широко раскрытыми глазами надежды.

За две недели она придумала множество проказливых положений, в которых игра делалась обоюдной и нерасторжимой. Основываясь на словах его письма, она воспитывала свое воображение в том ключе, которым он открывал свой Простор, выпуская по морю колдовство Времени. Линда утешала себя тем, что лжи в ней практически нет, что любовь её зреет и крепнет, что даже мельчайшие капельки нечестности являются частичками этой взметнувшейся любви, от которой веет ароматом таинственности. Как она могла обвинять себя в чем бы то ни было?! Он написал ей первым. Он вызвал ее на поединок — нет! — на битву слов, замаскировав побоище мирным Простором над безграничным морем. Это он должен был понимать свою игру или свою ложь, если он лжец. Но разве может быть ложной любовь?!

Желания её не были столь мудры, как слова писем. Она томила. Она ужасалась тому, что едва сдерживает себя, едва уклоняется от свиданий с приятелями и подругами — она отговаривалась тем, что хранит семейную традицию. Суть традиции Линда выдумать не успела, но её и не спрашивали про суть — есть традиция, и ладно, это же редкость, когда у человека есть традиция. Можно сказать, что приятели ей завидовали и завидовали самим себе, мол, у них нормально, у них прекрасно, у них даже есть такие, кто хранит традиции. Что ни говори, а волшебство слов бережет нас, даже когда мы сами не бережливы. Надеялась ли она на слова в той мере, в которой надеялась на прелесть своего тела? Этого не сказать, об этом нет нужды размышлять, потому что такое размышление напоминает оккупацию чужих угодий. Достаточно упомянуть о том,

что Линда паниковала, что от одной мысли, вернее, от намека на мысль, что он, её Виктор, заметил игру в напластовании слов, что он обиделся, что перестал писать, что она навсегда лишена его отрешенного взгляда, лишена улыбки и этой могучей робкой руки... У Линды начинались томящие судороги в животе, она наполнялась усталостью, руки ее делались тяжелыми и набрякшими, как от перегрузки. Она начинала осматривать себя — искать повреждений, что ли, ей делалось жаль своего тела, она всхлипывала и старалась прибиться к какому-либо горизонтальному положению — калачиком на диване или пластом на кровати — и на краткое время засыпала.

Она спала так коротко, что памяти о сне не оставалось, а вскакивала бодрой, легкой, гибкой, готовой читать его письма и писать свои, готовой терпеть одиночество и готовой разорвать это одиночество в такую пыль, что ни один придирчивый глаз не заметит крупички ее страдания.

Глава третья

Прошло полгода.

Виктор Журавлев совершал очередной заезд из города к месту своего Простора. Его чувство к простору изменилось, как изменилось время года от ранней весны до жаркого лета. Зрелище волн и локальные цвета пляжа — песка, неба, сосен и пляжного населения — радовали его.

Было далеко за полдень, хотя солнце стояло ещё высоко, тени еще не выпячивались из-под предметов, а зерна прохлады еще не прорастали из земли. Сентябрь ещё пытался выдать себя за продленный август, и это удавалось, потому что ни занудных дождей, ни серой тучности в небе не скапливалось.

В свете предвечернего солнца и в присутствии верных свидетелей — воды и ветра — Журавлев протопал краем пляжа, добрался до днища бывшей лодки, присел, облокотясь на остов, и достал блокнот. По ритму жизни — по той протяженности событий каждого дня, с которой мы сживаемся, чтобы не стонать от стрессов и не копить ненависти к условиям проживания, он обязан был написать письмо. Игра писем превратилась в нем в потребность, которую диктует стремление выжить в смертельном положении. Правда, острота выживания притупилась, а

игра — затянулась. Виктора стало тревожить, что интонация ее писем приобрела истерические вскрики. Он не заблуждался, читая ее письма, он бы мог рассказать, где она вздыхала, где сдерживала дыхание, когда писала. Он мог бы вообразить, как рождаются и развиваются ее мысли о нем. Энергия ее, стремление ее дарили ему живучесть. Женская забота — изощренная или упрощенная — все же лучшее, что достается мужчинам во время жизни. Другое дело, что мужчины об этом и не думают — зачем? Это же усложнит и обяжет. И Виктор не сомневался, что обязательства являются неким видом насилия, и подчинялся насилию — отвечал на письма старательно.

Кому он писал? Журавлев не задумывался над пустяками, ведь он писал ответно. Про своё первое письмо в нем памяти не осталось, а ее письма он мог цитировать наизусть. Поэтому он твердо знал, что отвечает не женщине, а ее письмам. Ее последнее послание билось в руках, как птенец, он перепугался, что сжимает листочки почтовой бумаги неосторожно, и положил письмо перед собой, не касаясь. Ничего не изменилось. Сами слова казались ранеными, притиснутыми, пищущими. Он разрешил своему воображению получать письма как бы с другой стороны бытия, но не увлекался, добывая из откровений женской стороны сведения, которые ему на этой земле были недоступны. Он полагал, что её воображение столь же свободно и насыщено, как его, и не мог ставить под сомнение линию слов, зато подстрочник информации вдруг выбивался на открытый простор, хорошо бы как ручей, но не так — он пробивался, скрипя когтями по коре, шурша шерстью, блестя зубками мелких хищников. «Что же я сделал тебе, что столько пупырышек вздулось? Озноб это? Испуг? Я же тебя не пугаю, — думал Виктор, — я тебе молюсь... вероятно...»

Если бы письмо проявилось прямо на столе — чернью по скатерти, он бы молился явно или иступленно, но почтовая бумага с голубой каемочкой, но почтовый штемпель Ленинграда с номером почтового отделения не допускали воображение к Простору вымысла, поэтому слова ее тоже приземлялись.

Она писала:

«Скоро ты забудешь меня. Ты так прирос к вечности и простору, так легко спрягаешь органы вселенной, что не умеешь

удержать в памяти капельку любви к человеческому существу, которое неосязасемо и незримо. Удивляться не приходится, наша память всегда поддается силе настоящего — действию, брезгуя пережитым. Тебе нет нужды уходить от живых в мир догадок и воспоминаний, ты излишне здоров для тонкой реальности, да и сила нужна там, где ты. Бессильные не выживают. Для меня не осталось разделенных понятий — всё, чего касается мысль, реально и предметно, мы о невозможном просто не осведомлены, не так ли?

Ты стоишь на твердом полюсе страны, для тебя громада воды и недосыгаемость Простора равны бесконечности материи, о которой говорят на уроках физики. Бесконечность — проста и ощутима, ей не нужны математические или философские определения. А ты все стараешься назвать это, определить, обозначить. Ты, как фарисей, полон книжным толком, и от обозначенного прежде не отрекаешься. Прежде — не есть метафора и вовсе не память, прежде — объем души, которую ты запер на ключ. Ты не потерялся в горе, не запил, не бросился в похоть, но и не допустил к себе даже меня. Мне досталась участь ожидания, со мною твои волны, твое солнце и твои травы, а тебя нет. Вместо тебя наползают гигантские видения, они меня пугают и могут поглотить. Мой облик делается зыбким, мои уши не слышат слов сердца. Ты пропадаешь от меня, ты мне не сочувствуешь. Однако ты спишь под одеялом, ты спишь на постели, у тебя закипает вода в чайнике над газовой горелкой, твой хлеб испечен бессонным заводом и доставлен в придворную булочную. Ты звенишь мелочью, покупая хлеб. Деньги даны трудом, а труд производится для людей. Связи нерасторжимы, но ты их упустил из рук. Мы легко забываем смысл азбуки, а пользуемся ее дарами бессознательно и постоянно. Мне кажется, что получился некий совет, а ты со мной не советуешься. Поэтому во многотрудной мудрости много печалей, а я — мудра. Вероятно, грусть виновата. Мне грустно. Мы, бабы, от грусти многословны, прости и пойми меня.

Линда»

Она не скрывала грусти, а воинственная грусть вызвала у Виктора щенячье упрямство. Он тянулся до какого-то нечего, а перед ним — преграда. Преграда слов. Досадно, что слова стро-

ются стеною и закрывают Простор его заблуждений. Для Виктора Журавлева понятие «заблуждение» не было ни упреком, ни ругательством — без заблуждений нельзя жить, заблуждения есть та непорочная основа восприятия, которую старомодно зовут оригинальностью. Не повторение избитых истин, а первозданное узнавание того месива чувств в застенках обязательных условий окружает нас от первого блеска сознания до последнего вздоха. Издержки за свои заблуждения он окупил тем, что не соревновался с другими ни в чем, не сравнивал себя ни с кем — не считал себя эталоном, и не потакал выгоде. Если ведомые или неведомые силы принудят не заблуждаться, то человеку останется путь рабства или самоубийство. Так думал Виктор Журавлев, так давно думал он, а его любовь не перечила ему. Когда её не стало...

Виктор вздрогнул, ощущая пузырь пустоты, который колыхнулся где-то в груди и полез вверх. Ощущение звенящей пустоты вспыхивало в нем, как только он покидал сиюсекундные нужды. Обычно это ощущение таяло, если он проникался внешним видом местности — вчитывался в суть предметов, уличал настроения людей и животных и вливался в текучую действительность на правах её части, капли или атома.

Он думал, что рабство человека не менее условно, чем его свобода, главное тут — осознание себя, потому что люди перегружают эмоциями слова и кидаются в крайности, поэтому рабство путают с насилием, а рабство есть зависимость, и это не то же, что насилие. Свобода в человеке не свободна. Что называть свободой? Ведь от зависимости не избавлен ни один человек, и срок жизни его ограничен здоровьем. Кроме того, тикают биологические часы — как только человек наберет достаточное количество недомоганий, так часы эти — стоп! Ни один часовщик не поможет... Хотя сжиться с этим легко, потому что биологических часов мы не слышим, а болезни унижаем медикаментами, иногда побеждая, а зачастую отводя нездоровье в тень, как лошадь в стойло, мол, стой тут, а когда придет пора, то запрягу... или выпущу...

Летом он научился запрягать лошадь — начальник Ладошкин засылал его в пионерский лагерь, организованный фабрикой для детей рабочих и служащих. В хозяйстве лагеря была лошадь, была сбруя, телега и небольшая конюшня. Виктор был

обрадован новым знакомством, довольно быстро запомнил, как запрягать, как кормить и поить животное, но чувствовал себя неловко, встречая лошадиный взгляд. Не укор он видел там, не грусть, а насмешку. Может быть, у лошади было проникновенное чувство юмора, которое сияло как-то сбоку у нее в глазах. Возможно, у лошади были некие мысли, которые отсвечивали Виктору, когда он заглядывал в ее глаза. Он уезжал в город радостно — не нужно переживать лошадиные заботы, но в городе скучал и ждал случая, чтобы вернуться на день, два в загородный край, где рабочие проживают на старый деревенский манер, делают деревенские работы, а для связи с современностью шутят:

— Витька, вставай! Запрягай машину, пора за водкой ехать...

Почему он вспомнил о лошади тут — у моря? Почему его не оставляет в покое мысль про самоубийство? А хочется ему убежать от такой мысли? Этого он не знал и не искал дорожек, по которым убегают от навязчивых мыслей. Он приехал к морю подышать простором, потому что именно тут он разглядел Простор, увидел его отсвет в море, услышал его немоту и чуть ли не оглох от ужаса, почувствовав, что Простор тянет его. Он приехал к морю, от которого бежал ранней весной по насту, чтобы наткнуться на спасительный огонек, вообразить призыв и войти в чужой дом... Это казалось нужным и неизбежным — войти в чужой дом. Это оказалось игрой, которую начал он, умиряя в груди пузыри пустоты. Почему он затеял эту игру?

Разве легко ответить на вопрос, почему мы дышим? Виктор хотел поблагодарить хозяйку за чай, за уют и за то, что ни истерики, ни паники она не учинила. Он не успел объяснить ей себя, то есть она не стала слушать объяснений — выпроводила его. Поэтому он придумал письмо, в котором нанес опознавательные знаки своего случая и своих чувств. Он еще не знал, что началась игра, он и не рассчитывал на игру... Но когда пришло письмо от нее, когда он увидел почерк Любы своей и зашелся в тоске от одинаковости и от слов внутреннего смысла, он увидел игру ее воображения и разрешил себе играть с ней.

В середине лета, вернувшись из пионерского лагеря, он получил письмо, которое она подписала не инициалом, а полным

именем — Линда. Это было нарушением правил игры, это было предательством воображения, и это было требованием капризной умной женщины, мол, хватит — поиграли, теперь — явись. Если бы мысли про самоубийство не волновались в нем, а сила жизни, подразумевающая репродукцию, была оголтелой, он бы явился — он бы вооружился цветами, шампанским, коньяком, придумал бы зашибательный монолог, покоряющий тех, кто призывает, ведь призывающие уже готовы к встрече, им не нужно лишних обстоятельств, лишь бы условности приличий соответствовали стереотипу привычек. Однако такой простоты в душе Виктора Журавлева не было. В его душе распространилась не простота, а пустота. Пустота вырывалась наружу и тянулась к Простору, который был как бы пуст, как бы тягивал в себя, обещая Виктору глубокую неразрывность с Любовью. Он уже заменил слово «самоубийство» на слово «простор», только думал о просторе пристрастно и величественно, как думают верующие о Боге.

Привалившись к днищу разбитой лодки, он стал писать Линде письмо.

«Как хорошо, что ты капризничаешь, уличая меня, этим ты сопутствуешь мне. У меня мелькают видения, что ты там — далеко, в отраженной стороне, стоишь в противоположной точке отсчета, как в Австралии, как на ином Полюсе. Вода и песок вокруг. Ветер играет твоими волосами. Волны бегут ростом с ладонь, но широкие и реденькие, а вода — синяя-синяя под синим небом, в котором нет солнца. Да, я увидел это — твое небо без солнца. По причине бессолнечности мне непонятны ветер и вода — им нет нужды волноваться, зато твой образ прозрачен и текуч.

Я оказался котенком, который догонял клубок ниток, а клубок разматался. Осталась ниточка твоих чувств. Трогаю ниточку — принимаю. Прислушиваюсь — пытаюсь постичь... И слышу крик: “Пойми!”

О, ты права, — я впервые тебя не понял. Но об этом после... Сейчас вижу небо и море — они сливаются где-то вдаль в единую общность, оттуда несет теплом, как от заката. Я сижу, оперевшись о днище разбитой лодки, — поманивает сравнить лодку с корытом, мол, сел у разбитого корыта, но это была бы голая ложь, а я одет и обут. Недалеко от ног — вода, вдоль

воды — пляж, на пляже — народы. Они мне не чужды, но мы как бы в иных координатах чувств: я не умею быть просто на пляже — загорать, купаться, бить по мячу... Всё это ушло в детстве, а ныне это равно безделию. Что это за удовольствие — хлопать руками по мячу? Народы пляжа делают это от скуки, а мне некогда скучать — ты отучила...

Помнишь, как это было? Я взорвался пустотой, был как выпотрошенный, кругом — пусто и холодно, холодно и пусто... Я искал следы, спасался от ничего, мне нужно было быть с чем-то. И ты проявилась. Первая весточка ободрила меня, я стал не смотреть, а видеть, стал слышать, не слушая. Это великолепно! Цепи связей, которые нас пугают, одели меня без гнета. Скрытое, пропущенное, мелькнувшее стало постоянным и достижимым, я стал полон, даже переполнен. И вдруг — “пойми!”

Я улыбаюсь тебе — что это? — слово кажется намеренным, как свист милиционера, его смысл вырастает в громадную фигуру без очертаний, подобную изваяниям древних египтян, где все намеками, условностями, намеренностью — то птичья голова, то львиные когти, то руки лебединые... Помнится, что женщина с птичьей головой у египтян — знак материнства. Твой Египет где-то южнее, там тепло, а я тут. Что мне до символа когтистого материнства? Мои дни проще пареной репы, завожу себя, как часы, для исполнения труда и прочих обязательных мелочей, а сам в пустоте. И вдруг оттуда, где живут миры ясных судеб и безмерные чувства пронизательности, раздается: “Прости меня, и — пойми!”

Ничего не понимаю. Разве там — в чистоте сознания кричат от одиночества? Разве просят прощения за крик? Чего там бояться — отторжения? насмешки? безразличия? Меня пугают предчувствия, они идут волнами, а не имеют очертаний. Что это? Что будет? Не ведаю. Не знаю. Знать не хочу. Почему? Потому что мы разорваны на куски: ты многословна от грусти, я — от неведения. Ты знаешь, что тебе надо: пойми и прости. А во мне пусто, пусто рядом со мною и пусто в просторе, который уже не пугает меня, — пух песка и колыбель воды равны соснам, равны суете машин и людей — это декоративный террариум, в котором до определенной поры помещаюсь я... Странно, что у тебя иное равенство — космос равен стирке, обязательный труд — свободе, любовь — нетерпению. От твоих слов хочется

ласкаться самому и осуждать других, словно есть право судить. Я убежден, что только родители могут судить своих детей. Но родина, наша мать, не так заботлива, она держит нас сиротами, а мы ее называем мачехой. Изменимы ли величины? Вечны ли ценности? Это не вопросы, вернее — это вопросы для стяжателей. Я не в их числе. Твои слова ко мне что-то знают, мне незнакомое. Ты, кажется, переменилась. Изменение в тебе свежее, недавнее. Море знает об этом, оно дышит, рассказывая, как дышим и мы с тобой. Я верю морю, я беспрекословно верю морю, у него нет намерения обмануть или подыграть.

Письмо это — только подтверждение звуков воды и Простора, эти стихии полны нашими воплями, а мы вскрикиваем нежданно — от боли, и изредка — от счастья. Мне кричать не о чем или — нечем. Пойми меня и прости».

Перечитывать письма он не стал, так как был уверен, что перечитывание и исправление вносят в первичный искренний текст искажение образа мыслей, одновременно искажая самого автора, который поддается стороннему вниманию, поэтому забывает искренность. Он вложил письмо в конверт и поднялся на ноги. Совсем рядом была темная и прозрачная вода, очень похожая на громадный глаз лошади, мерцающий иронией. Он вглядывался в воду, как в суть вещей, понимая, что вещь уже есть истина, а истины в себе он не видел или не заметил. Стайка мальков отвлекла его внимание — рыбки качались все вместе то ли волной, то ли одинаковым движением плавничков, но вдруг прыснули в разные стороны и замерли в тени водорослей. Тут в воде поплыли облака — они ползли как бы ниже дна, не увеличивая глубины, и это казалось странным и обманчивым. Виктор видел иррациональность существования вещей, которая так обычна, что никому в голову не приходит эта иррациональность. Он отвернулся к пляжу — за поддержкой своей мысли, вероятно, а увидел, что население пляжа подпало под эволюцию — это уже не рептилии, ходящие на животе, это были двуногие вертикальные существа, они суетились, они были подобны по жестам, по занятиям, по намерениям. Они группировались и разбегались, согласно гравитации симпатий, их ритуальные танцы с мячом были похожи на моление об одежде.

«Не болезнь ли это? — подумал Виктор. — Мы одеваем свои желания волокном сложностей, чтобы самим себе казаться умнее природы своей. Если человек столь глуп, как объяснить факт его слов, которыми он охватывает необъятные величины мироздания, посягая на знание законов мировой жизни?»

Неожиданно вспорхнул ветер. Обилие озона накатило на Виктора — он задышался, голова закружилась, но руки налились силой, грудь выпятилась. Море в это время рябило — облака выскочили из глубины и понеслись по небу. Солнце присело и стало краснеть. Картина заката не взволновала его, может, пересыщение озоном притупило восприятие, может, он пересидел у воды, отвечая ей, перестарался освободить себя от её крика. Как бы то ни было, но Простор уже не манил воображения, вода не отражала предметов, а свет был повсюду и не казался предметным. Он подумал, что пора уходить, пора доставить письмо, а потом настанет пора возвращения в город, где придет пора простых забот и действий, которые не помогают, но и не мешают думать о себе и мире.

Он отправился к дому Линды, угадывая ту дорогу, по которой он шел к пляжу. Проходя в черничнике, Виктор заметил на кочке выгоревший кусок полотна, но тень не нарисовала на полотне головы, боль воспоминания не вспыхнула. Он стал думать, отчего боль не пришла — от черствости? от повтора ситуации? И пришел к выводу, что его не занимает открытая реальность, — ну что ж, кочка есть, тряпка на ней, так там рядом обрывок газеты валяется, можно прочесть кусок слова «вда» — вероятно, правда, но какая же правда может валяться в исхоженном лесу? Он стал улыбаться, перечисляя в памяти газетные виды правды, и вообразил правду фигурой — монументом из мятых газет. Это было смешно, даже смехотворно, но никак не касалось его души, не трогало её писем и их разваливающейся связи. Мимо линии окопов он прошел без воспоминаний о войне, а возле ямы блиндажа развернулся в ту сторону, где за деревьями различались поселковые дома. Возле почтового ящика он задержался на несколько мгновений — вынул письмо из конверта и запихал листки из блокнота в черную щель голубого ящика. Виктор подумал, что можно бы приподнять крышку и опустить письмо, не жамкая бумаги. Но он отправился к станции.

На платформе качались пассажиры — это было знаком, что электричка скоро подойдет, что вагоны уже видны и, может быть, слышен металлический голос. Так и случилось: пока он поднимался на перрон, прибежала электричка. Виктор вошел в вагон и сразу же присел возле окна. Поезд тронулся, жужжа. Что-то извещалось этим жужжанием — звуки зря не рождаются. Вагон качнуло, у Виктора дернулась голова, и он увидел в стекле свое слабое отражение, а за стеклом — оттуда, где была глубина заката, натекала тень ночи. Прилив грусти накатил на Виктора, он думал, что в живом мире всего-то есть нечеткое отражение его, что души его, страсти его, глубины его чувств вообще не видно, что проявить все это невозможно или не нужно, а не проявляя и себе не докажешь, что ты живешь. Проявлять свои чувства все же нельзя, потому что их проявление является требованием к другим, мол, обратите внимание — я существую и чувствую ярче вас! Если одинаково, то нечего требовать — все мы люди, все — человеки. Достаточно такого сознания для жизни? Вероятно, да. Это ему мало. Это он возгордился, что может видеть Время, ощущать Простор и увлекать воду...

Виктор чувствовал, что у него дрожат губы, и повернулся к стеклу, чтобы скрыть от любопытных пассажиров свою горькую сентиментальность. Спазм случился в горле, на глаза навернулись слезы. Он почти не думал или почти не смотрел в окно, то есть думал и смотрел как бы походя, не застревая ни на какой детали. Абрис его отражения в темнеющем мире делался ярче, а внутри абриса был провал, словно материи лица вовсе не существовало. «Вот это моя жизнь, — подумал он, — никто, нигде, никак, да еще намутил воды ей... Зачем я затеял игру? Неужели цепляясь за жизнь? Что бы мне сказали глаза лошади, если покаяться ей?»

Он улыбнулся сквозь слезы, но тоска в нем развеялась, а некое решение окрепло. Ведь человек отличается от иных животных тем, что принимает решения и выполняет их ради себя самого...

...Линда извелась, дожидаясь письма, она стала попрекать себя за то, что консервирует свою молодость бессмысленно, что она придумала любовь, а не почувствовала, и цепляется за выдумки, как за факты. Её естество бунтовало, она была готова на поступки, которые считаются нериличными. Например,

выйти на людную улицу, выглядеть жертву себе и затащить эту жертву в постель. Выпить хорошего вина, естественно... или не пить, или напиться чем попало, хоть бы одеколоном. Однажды она пила одеколон «Кармен» — за компанию с милым другом, который все же был алкашом и не очень милым человеком, поэтому они расстались... Превратить свое тело в помойку казалось ей вполне резонным наказанием его — это он посмел не писать, не приезжать, не понять такой святой простоты, что прощения за этот грех быть не может.

Она стала задерживаться на работе, чтобы дать возможность времени вечера растянуться перед его возможным появлением. Она представляла это почти по той контурной линии, по которой случилось их знакомство: она вернется в дом, станет заваривать чай, за окном стемнеет, ее лампочка под козырьком из белой жести станет сиять, и на это сияние примчится он, испуганный и радостный, нетерпеливый и сдавшийся ей в плен. Вопрос был решен, она была готова к победе, оставалось поймать правильный момент, который вшит в цепь неизбежных поступков, и торжество состоится, то есть встреча будет бурей откровений — она закроет ему рот рукою, губами, телом, она опередит его желания, наградит его своей щедростью в таком изобилии, что он рухнет от счастья и станет дремать, улыбаясь.

Она почти бежала от платформы в сгущающейся темноте вечера, она бы разминулась с ним, если бы встретила на пути, так сосредоточенно она представляла цепь действий. Добежав до калитки, она сперва кинулась в переднюю (в сени, что ли) и включила свет на столбушке, ей показалось, что от лампочки разбежалось голубое сияние. Заглянув в щель почтового ящика, она увидела мятую бумагу и по-мужицки выругалась, она подумала, что какой-то хулиган набил дрянью ее почтовый ящик. Потом Линда выковыряла письмо, узнала почерк и слома голову поскакала в дом — читать.

Она читала и леденела. Нет, не злость, не обида и не ярость взрастали в ней — это поднимался холод, лютый холод обманутых надежд, презрительный холод к самой себе за увлечение ничем — за выдумку любви, за доверие глупому случаю, который все же обманул ее. Ей стало казаться, что руки и ноги ее стали ледяными — хрупкими и твердыми, что жизнь в ней теплится только в глазах, и тогда, преодолевая ощущения и

подавляя чувства, она встала с дивана, потянулась к старомодному буфету, чьи красоты были полны резных яблок и груш на дверцах, а в центральном отсеке под гроздью деревянного винограда пряталась бутылка болгарской «Плиски». Одним ударом маленькой ладони она выбила пробку, наклонила горлышко «Плиски» над чайным стаканом — наполнила, потом торопливо выпила и отерла губы тыльной стороной ладони. «Мужичка, — мысленно упрекнула она себя. — Тебе и судьбу надо мужицкую... А то размечталась...»

Хмель ринулся гулять у нее в крови немедленно, хмель нес успокоение и сдерживал азарт. Свое тело ей больше не казалось ни помойкой, ни приманкой, но оно было сосудом — емкостью, в которую наливалась усталость. Теплый и живой мрак стал обволакивать ее. Из мрака выстреливались острые искорки. Она отвернулась к стене и боком налегла на некую плотность — валик? подушка? Она улыбнулась, допуская, что не узнала эту плотность, что это нечто другое — более материальное, чем мертвый предмет. Она выпростала руку, чтобы обнять это, а под рукой ничего не оказалось. Да, её обманули или она обманулась. Разницы никакой — кто и что, важен результат, а этого результата нет. Все, что у нее есть, — это место бытования, но дивана, буфета, кровати, тряпок одежды, и материальная независимость все же не делает жизнь полной, интересной и нужной. Супружеской постели ей не суждено, держись за диван одиночества. Или гуляй. Нужно ей — гуляй?!

— Нет, — выдали ее губы, приоткрывшись, и Линда почувствовала, что в кружок губ из вечерней тьмы — прямо из заоконья — потекла усталость. Стены ее дома стали смыкаться верхними краями, потолок сполз, обнажая пустоту ночи. Она заметила, что губы остаются кружком — буквой «о», удивлением или еще каким свойством засыпающего существа. Она сказала шепотом:

— О! О-о...

И не успела подумать, зачем она это произнесла. С протяжным «о» Линда заснула пьяным сном.

* * *

...Виктор Журавлев вернулся в свою комнату перед полночью, он не нашел уюта, не нашел покоя и не нашел интере-

са в окружающих предметах, словно это была чужая комната в чужой стране и на чужой земле. Он стал думать про город, в котором есть дома и комнаты чужих, а своих — нет. Это было совершенно ясно — у него нет ничего своего, все чужое, все ненужное, ибо человек рождается, чтобы любить, а любовь обогащает человека заботой. Процесс жизни у людей полуинстинктивный, а половинчатость по сути своей неполноценна. Его половину отняли неведомые условия болезни. Остатком можно играть, но это никогда не станет чем-то, а будет только игрой. А игра надоела, игра предсказуема, потому что правила игры вырабатываются игроком в самом процессе. Сложно и пусто, как мозаика, под которой немая плоскость. Выражение на мозаике — условно, следовательно, дополняет пустоту пустотой. Умысел всегда пуст... Так он думал, стоя у стола, не снимая куртки, не разунаясь, не приготавливая постели. Почему он стоял, как столб, он бы не ответил. В душе роились необъяснимые ощущения, Виктор их не пытался осознать — это были цветные кусочки образов, как в калейдоскопе, которые перекачивались и перекладывались, меняя форму. Он как бы видел необъяснимое, но доступное, не манящее, но нужное, как воздух для дыхания. Подобие некой мысли пряталось за этими бегущими переменами, он ждал — что-то выскочит, проявится, раскроется, но этого не случилось. У соседей, вероятно, был праздник — в их комнате гремели голоса, топала мебель, шаги скрипели на кухню, звякала посуда. Виктор замотал головой, стряхивая чужие звуки. Надо было ложиться спать, заткнув уши, или уйти из дому. И он ушел на улицу.

Было темно и малолюдно. Фонари горели через один, ибо настала ночь. Он двигался по улицам бывших встреч, по камням былых прогулок, через перекрестки былых встреч и расставаний. Он чувствовал, что находится в чужом городе, в котором некогда существовал. «Мы умираем раньше смерти, — подумал он, — а проживаем, ужасаясь перед ее приходом».

Трамвайные рельсы оказались у него под ногами, он решил, что рельсы подобны дороге — куда-нибудь да приведут. Шагая посреди улицы и между рельсами, он вышел к Неве и подошел к парапету, чтобы посмотреть в воду в упор. Калейдоскоп образов заматался в его душе — вода резко отличалась от воды моря,

вода реки текла, как шепот, вода свивала отражения огней рябью, вода неслась...

«Это было мое заблуждение, — подумал Виктор Журавлев. — Не Простор заманивал меня, а вода, я просто не понял, не старался понять. Надо было идти в воду — в этот лошадиный глаз моря...»

Он упрекнул себя в том, что вода — ее вид-плоскость-величина — объединяет вымысел с игрою. Он узнал, что за текучими обрывками образов в его душе прятался ужас пустоты. А в теле реки пустоты не было — там была плотность бега и утаенность от глаз, чьи взгляды скользили по поверхности.

— Реки впадают в море, — сказал он фразу из учебника географии, а представил, что плывет чуть выше дна, где течение сильнее. Тут же раздался шум ног и скользящий свист. Удара по голове он не почувствовал, но сверкнул мрак и раздвинулся до пузыря пустоты.

...Тело Виктора Журавлева нашли у Балтийского завода, оно всплыло у берега и курткой держалось за проволоку. Выражение лица было упрямым, словно жизнь все еще была в нем. Машина «скорой помощи» увезла тело в морг больницы им. Ленина. Дальнейшая судьба его слилась с судьбою тысяч покойников, которых хоронят и кремируют, оплакивают и забывают...

Послесловие

— Чем ты его треснул? — спросил невидимый голос трезвого человека.

— Кирпичом, больше ничего под рукой не было.

— Зачем бить-то?

— А не стой над водой и не наклоняйся, понял, нет?

— Дождешься, и тебя грохнут...

— Пробовали, да промахнулись. Теперь моя очередь.

— А понт какой? Ни капусты, ни навару...

— На что мне капуста? Я для тренировки. Видел, как он ткнулся в воду? Точно покойник — без мучений. Калабаха у меня — во! Девать некуда.

— Калабаха откуда?

— От верблюда. Ссать захотелось, вытащил, а в руку не взять. Вали сюда, перекурим, потом в общагу к девкам...

— Кирпич с собой возьмешь?
— Ты что — дурак, что ли? Я своих не трону.
— А я думал, если не даст, ты Машке по мордашке.
— Ха-ха! Дурила ты, а не слесарь. Курнешь? Точно захороняет.
— Выходи наверх, — позвал трезвый голос.
— Там мусора гуляют, надо сваливать.
Толстая тень пробежала от реки к парапету. Крошечный огонек прочертил скользкую воду и утонул.
Два милиционера поравнялись с двумя ночными прохожими.
— Доброй ночи, начальник, — сказал один голос.
— Если через десять минут встречу, пойдешь в отделение, — ответил кто-то из милиционеров.
На этом и разошлись.

1973 г.

ОСКОЛКИ БЫЛОГО

Пять рассказов

1. АСТРАЛЬНОЕ ТЕЛО КУРСАНТА КУЗНЕЦОВА

Мы сидели у костра возле стены храма. Татарин был спиной к стене, я — лицом. Ночь казалась прозрачной, луны не было вовсе, звезды как бы растворились.

— Научи меня чудесам, — попросил я.

— Чудесам не учат, — ответил татарин, — чудеса постигают.

Мне стало смешно, я был точно уверен, что это мистифицирует Василий Козловский, соблазнявший меня заниматься телепатией. Он и сейчас соблазнял, только пользовался гипнозом — что-то сделал так, что я не заметил и оказался в горах у костра с татаринком. Где я его раньше видел, татарина этого? Точно — не в училище. Может, на улице — у нас в городе полно татар в дворниках. Этот, может, в доме Васьки работает — за бутылку согласился меня дурачить.

— Когда надоест, скажешь, — сказал я.

— Что — надоест?

Татарин не удивился ни голосом, ни выражением лица, а вопрос прозвучал с усилением, значит требовался ответ.

— Водить меня за нос — есть такое выражение, когда тебя обманывают и ты это чувствуешь.

— Выражений есть много. Иные лучше не выражать — уши вянут. Скажи мне, Валерий Иванович, ты чувствуешь, что тебя водят за нос?

— Нет, разумеется. Моего носа никто не касался. Но ведь так получилось, что я сидел на скамейке возле дома Васьки, ждал его, чтобы пойти к Волкову..

— У Волкова картинка от бабки осталась, которая светится в темноте. Тебя заинтересовало, а зря. Нечего смотреть глупости. Там ничего загадочного нет, просто краски с фосфором. Если подержать картинку перед сильным светом лампочки или на солнце, а потом перенести в темную комнату, то волны в море на картине светятся и лохмотья парусов — тоже. Но это обман, потому что все это бессмысленно.

— А какой смысл в том, что ты сидишь, прикинувшись татарин, и пытаешься втравить меня в какую-то новую глупость?

— Посмотри на меня внимательно — разве я татарин?

— По крайней мере, монголоид.

— Монгол, так будет правильной. Ты звал меня, и я пришел. Что тебе нужно?

— Ради бога, ничего. И не звал я тебя. Я тебя просто не знаю, хотя лицо кого-то напоминает. Откуда ты взялся?

— Люди с дальнего севера неадекватны и бесцельны. Им что-то удается уметь, но они не знают, что со своим умением делать. Тебе, например, сейчас хочется курить, а курить нечего. Возьми мою трубку, в ней хороший табак.

Перед татарин, оказались несколько трубок с прямыми длинными мундштуками, на трубках были нарезаны орнаменты без фигур. Минуту назад трубок вообще не было. И татарин был полуголым, коричневым и блестящим, вероятно, его маслом намазали. А теперь на нем была пурпурная хламида — простыня или одеяло. Разглядев это, я сразу подумал, что Василий задумал накурить меня маком. Он считает, что я — скован, что мне нужно учиться расслабляться, а под наркотой даже учиться не нужно — только кури.

— Я считаю нашу встречу преждевременной, — сказал татарин. — У тебя есть некоторые данности, но ты их не понимаешь. Скорее всего, тебе они не нужны. Лучше ими не пользоваться, а то погибнешь. Меня зовут иные голоса. Прощай, Валерий, я теперь исчезну..

Над тем местом, где сидел татарин, возник белый туман или дым в виде вертикальных волокон. Волокна вытянулись, стали как бы нитями и исчезли. Или испарились. Пропали

вместе с тойгой татарина, вместе с трубками. Я оказался лицом к стене храма перед пустотой. Небо над головой уплотнилось и потемнело. Я закрыл глаза и тряхнул головой. Мои веки разлипались с трудом. Улица была светла. На газоне шевелилась несколько вытоптанная трава. Василий дергал меня за плечо и что-то бубнил.

— Отстань от меня, — сказал я ему.

— Ты что звереешь? — обиженным тоном спросил он.

— Сон приснился, поэтому озверел.

— Расскажи, расскажи! Я еще не видел, чтобы днем возле дома сны просматривали. Что-нибудь жуткое?

— А то ты не знаешь?! Ты же всю муру эту выдумал!

— Тихо, Валера, тихонечко. Не надо шуметь. Какую муру? Что я тебе сделал?

— Ты ж сам меня учил расслабиться и сосредоточиться. Учил? Вот я и расслабился. И сосредоточился... И увидел татарина где-то в горах, мы с ним у костра перекур делали...

Василий боком выдвинул меня на край скамейки и сел, чтобы не смотреть сверху вниз. Прямо — глаза в глаза — меня успокоило. У Василия голубоватые глаза, если не злует, а на взводе глаза у него темнеют до синевы — точь-в-точь цвет неба, когда испарился татарин.

— Подробно рассказать можешь? — спросил он.

— О чем?

— Не темни, Валера. Это может быть очень серьезно и даже опасно.

— Ну ты, как татарин, допрашиваешь, а потом: лучше не пользоваться, а то погибнешь...

— Хорошо, как татарин. Начни с начала. С самого утра, чтоб не запутаться.

— Так путаться не в чем. Проснулся, умылся, позавтракал. Мамаша мне оладьев напекла... Балует меня раз в неделю, когда увольнительная. Сама наверняка оладьев и не пробовала... Потом отпарил брюки...

— А думал о чем?

— А я не думал. Я как бы плыл и вспоминал, как ты меня сватал стать не то колдуном, не то мудрецом. Про телепатию наплел с три короба.

— Пожалуйста, о себе, — попросил Василий.

— Разве я о тебе? Извини тогда. Не помню как, но мы с тобой подружились. Почему так? Откуда мне знать. Нормальный ты пацан, не дурак, а это очень много для курсанта. Почему ты в училище пошел, а не в институт?

— Дисциплины больше. Лишнюю дисциплину можно превратить в такие занятия, которыми в гражданском институте трудно заниматься.

— Например, — подсказал я.

— Например, эзотеризмом.

— Никогда не слышал про такое.

— Неправда, слышал, я тебе говорил.

— Значит, прослушал и забыл.

— И это неправда. Ты схватываешь на лету, у тебя есть данность...

— Опять как татарин. Он тоже сказал, что у меня данность, но мне она не нужна и опасна. Ты с ним сговорился, а теперь из меня делаете идиота. Найдите другую мишень, я с вами не играю.

— И с тобой никто не играет. И татарина я никакого не знаю. Мы сговаривались идти к Волкову картину смотреть. У него еще есть дневники бабки его, которая недавно померла. Она была медиумом. Помнишь, что такое медиум? Виктор обещал показать дневники и даже прочесть кое-что...

— А татарин сказал, что смотреть нечего, просто в краску подмешали фосфор, поэтому светится в темноте, как циферблат у часов.

— Кто тебя свел с татаринном?

— Никто не сводил. Он проявился сам. Было зябко. Я хворост сгреб кучкой и поджег — костерок сделал. Тут появился татарин, голый по пояс. Говорит: «Можно погреться?» Я сказал — садись, грейся. Потом обратил внимание, что за спиной татарина стена из камней метров пять высотой, а за ней еще одна стена — еще выше. И купола какие-то. Подумал, что меня дураят приятели — ты да Рыбаков, оба вы умничать любите.

— А Рыбаков-то при чем?

— Да к слову просто.

— Если к слову, то не поминай. Рассказывай про татарина.

— И рассказывать нечего. Он говорит, что я его вызвал, он пришел, а я молчу, получается глупость, а у него на глупости

времени нет. Кстати, пока он мне это говорил, то каким-то образом приоделся в красную мантию, как в тогу, что ли. Глаза у него были загадочные, то есть сплошные, твердые, без белков, а выражение глаз — живое.

— Дальше давай. Что тебе татарин говорил?

— Больше ничего. Он исчез. Испарился. Белые полосы тумана взвились от земли вверх, потом пропали.

— И всё?

— Еще ты меня начал за плечо трясти.

— Так ты ж спал!

— Ни секунды не спал. Просто не понимаю, как в горы попал и как сюда вернулся. Который час?

— Шестой, минут пятнадцать.

— Не может быть! Я пришел сюда час назад, газету принес. Где газета? Ты не видел газету?

— Не переживай, я тебе другую газету куплю, еще лучше прежней или свежее. Пойдем к Волкову? Ты ему про фосфор скажи, он на тебя с топором полезет. Он считает картинку волшебной, говорит, что от картинки получает заряд энергии... Так что особо не обижай парня, все же он к нам расположен.

Виктор Волков был в гражданском костюме и поэтому был неузнаваем, даже показалось, что он стал старше на десяток лет. Хотя военная форма всех молодит, поэтому в гимнастерке он моложе. От штатского костюма взгляд у Виктора тоже изменился — стал печален или меланхоличен, и смотрел он как бы сквозь человека. Я не люблю взгляды сквозь меня, но тут, как только подумал, что он меланхоличен, так неприязнь отпала и появилась некая жалость к нему. Черт его знает отчего — может, оттого что у него бабка померла. Я бы о бабке не печалился, так я ее и не видел ни разу, а Волков жил при бабке, дневники ее читал... Я улыбнулся ему, кажется, не менее печально, чем улыбался он, и в ответ получил целый пучок светлых искр из его глаз.

— Молодцы, ребята, что пришли без опоздания, — сказал Волков. — Еще светло, солнце есть, можно осветить картинку.

— Можно не освещать, — сказал Василий, — мы знаем, что фосфор светится.

— Откуда ты знаешь про фосфор? — встревоженно спросил он.

— Это не я знаю, а Валера. Он пять минут назад с татарин-ном в горах сидел ночью. Татарин ему про фосфор сказал, а по-том испарился.

— Татарин с агатовыми глазами, — почему-то шепотом сказал Виктор.

— Ты с ним тоже встречался? — спросил я.

— Хотел бы встретиться, да не получается, вероятно, не умею сосредотачиваться с нужной силой.

— Я и не сосредотачивался, я костер разжигал...

— Хватит базарить, — вдруг вмешался Василий. — Картину показывай, потом поговорим.

— Конечно, конечно, — зашепшил Волков.

Он снял со стены небольшую картинку, на которой была изображена буря вокруг крошечного парусника. Ни людей на корабле, ни света в небе. Виктор поднес картинку к лучу солнца, который входил в комнату между тяжелых штор. Ничего не случилось. Картинка осталась картинкой, только цвет моря стал явно зеленым, а до того казался серым.

— Пойдем в ванную, — позвал Виктор.

Он нес картину, прижав ее к животу, опасался, что изображение выльется на пол в коридоре. Оно не вылилось. Оно проявилось в ванной какими-то волнами — макушками волн, которые висели над темной зеленью, должно быть, воды — материального ощущения этого цвета не возникло. И лохмотья парусов тоже светились, но они казались живыми — взволнованными и безнадежными. Я готов был это сказать, но Виктор включил свет и мистические волны исчезли, а рваные паруса на картинке живыми не казались вообще.

— Ну как? — задыхаясь от волнения, спросил Виктор.

— Светилось, — сказал Василий, подумал и прибавил: — Жутко светилось.

— Нормально светилось, — кивнул я. — Паруса жалобные почему-то, а море — мертвое.

— Видишь, Валера опять заметил. Сам, ему не подсказывали. А мы с тобой валенки, Васенька, нас переделывать надо. Мама, мама, роди меня обратно!

— Тьфу на тебя, — плюнул Василий. — Одет джентльменом, а рот отворяешь, как извозчик.

— А ты извозчиков видел? Они вымерли еще перед войной, их теперь называют шоферами. Когда браки были только церковные, на свадьбах были шафера — дружки и подружки молодых. Скоро в русском языке все перемешается, и попа не отличишь от дьявола, а министра от монстра.

— Не обращай внимания, Валера, это Волков нам лекцию читает о загрязнении великого и могучего, липучего и кипучего, русского и узкого родного языка.

— Ты не согласен, что наш язык засоряют? — вскипел Волков.

— Согласен, что засоряют, но не согласен, что засорят. Если у нас великий язык и могучий, он сам справится с мусором, сам очистится и станет еще прекраснее и длиннее, правда, Валера?!

— Что-нибудь изменится, если я скажу — правда?

— А каких изменений ты хочешь? — обиделся Василий.

— Самых элементарных: я хочу из ванной уйти в комнату, где круглый обеденный стол, сесть в кресло имени Волкова и попросить чаю, приготовленного на спиртовке, которая стоит на бюро, завешанная кружевами.

— Во глаза! — восхищенно сказал Волков.

— Во жадность к чужому чаю, сказал бы я, — поклонился Василий.

— Желания исполнимы, — улыбнулся печальными прозрачными глазами гостеприимный хозяин. — Жаль, что кусать нечего, кроме баранок, да и те, кажется, подсчитаны матерью еще с утра. Идемте пить чай, мальчики. У меня прекрасное настроение и такое чувство, что мы проживаем в правильном месте в нужное время, поэтому все желания исполнятся.

— Если баранки испечь, — сказал Василий.

— Или не есть, — поправил я.

— Нет, лучше их уничтожить, а на пустое место повесить авоську.

— Для авоськи нужен гвоздь, а на пустом месте гвоздей нету. Как вешать?

— На гвоздь, — раздраженно сказал Волков.

— Что я тебе, выебу гвоздь, что ли!

— Выеби, и скажи, что нашел.

Я хихикнул. Волков обиделся до красноты на шее. Васька, очень довольный собой, опередил меня и ввалился в кресло.

— Я тебе не разрешал занимать кресло, это для Валеры, понял?

Васька выскочил из кресла вертикально вверх и задницу отряхнул, чтоб ни волоска не испортить. А волоски кошачьи были, вероятно, местный кот пользуется этой мебелью — на правах владельца. Если кресло мне отвели, значит, у меня с котом права одинаковые — грех не воспользоваться врожденным правом.

— Ребятки, у меня родилась идея. Скрывать от вас не стану — я голоден, как животное. Животное, рассуждающее по-людски, может претендовать на внимание, не так ли?

— Не тяни резину, — промычал Василий. Он торчал у венского стула между столм и окном и, вероятно, придумывал сесть так, чтобы и у стола быть, и на двор поглядывать, ему осталось выбрать угол, что для будущего артиллериста плевое дело.

— Если Виктор не откажет, мы не тронем баранки, а попросим существенного супа, которым домохозяйки великого Союза кормят кошек. Кошачьего супа Волковой матери не жалко. Кошки, замечу вам, товарищи, охотники, падаль не едят. Кошки — господа по характеру, они любят: а — рыбу, б — кошек. И больше никого. Как ни странно, это напоминает нас, курсантов краснознаменного вместилища...

— Влагалища, — подсказал Василий.

Витька Волков от неожиданности присел на пол. Кот от неожиданности вырвался из-под кровати и забрался на перекладину штор, но не зашипел, значит, не испугался. Меня затормозили активные выходки животных, потому что, кроме меня, их семьи носили признаки животного мира — Козловский и Волков. Коту не требовалось фамильной уверенности в происхождении, мне тоже, так как по фамилии отца я владел рукоеслом и значился кузнецовым. Каким именно — не прояснялось, может, варежкин или рукавицын, может молотков или молотов. Лично для себя мне нравилось быть ковалем или молотобойцем, но это я держал в тайне, чтобы не хвастать двойной принадлежностью к людям.

— Считаю выходку Козловского козлиной шуткой, — заметил я как бы проходя. — В настоящее время мы на опасной тропе — седьмой час, может прибыть хозяйка, а при ней даже кошкин суп малодоступен. Мы вылетим отсюда на танцы, а там

если есть бутерброды, то черствые, а пирожки — с повидлом, которое напоминает остатки раннего детства нас всех, товарищи курсанты. Товарищ Волков, поручите мне спиртовку и колбу, я умею обращаться с хрупкими вещами. Козловский пусть наломает хлеба, нож ему доверять опасно. А владелец кота может без жертв поставить рыбный суп на что угодно, лишь бы он вспотел через пять минут.

— Через пять минут нагреется только на примусе, а примус у соседки, на примусе сковородка с картошкой.

— Сбрось сковороду, ставь суп. Соседке скажи, что у тебя эпилептик в комнате, если ему не влить пару ложек рыбного супу, он паркет головой прошибет. Жареную картошку можешь прихватить вместе с супом...

— Ну прямо командир первого года слушанья! — изрек Василий.

— Завидуешь? — спросил я.

— Нет, удивляюсь. Я бы стал с тобой соревноваться, если бы знал происхождение слова «командир».

— Какая тебе разница? — удивился Волков. — Командир значит начальник, этим все сказано.

— Э нет, батенька, так революцию не делают. Командир — слово священное, где ко — явная приставка, а мандир — загадка. Предполагаю, что это исходит от приказа или команды. Команда — вот где таится прелесть и увлечение. Докажите мне, что командир вышел из манды, и я постараюсь стать самым обещающим камандиром нашего курса.

— Чем больше человек разевает рот, тем громче скрипит аппетит на его зубах и тем ненасытней пепсин чрева его, — заметил Волков.

— Отмечена поразительная жадность парнокопытного, — подсказал я, и Волков благосклонно улыбнулся, уходя на кухню.

— Тогда вообще жрать не буду — ни кошкина супа, ни соседскую картошку, пусть вам будет стыдно за голодную смерть товарища в общем окопе.

При этих словах в дверях появился Виктор с кастрюлей очень некрупного размера — кастрюлька стояла на дощечке, зато на пальцы его были напялены баранки — три штуки, каждому по одной. В колбе со дна стали взбегать мелкие пузырьки, и я погасил спиртовку.

— А чай? — грозно спросил Васька.

— Чай скоро заварится. Видишь, пузырьки текут — это называется «белый ключ». Заварная вода не должна бурно кипеть — чай будет невкусным. Где заварка, Витя?

— В бюро справа посмотри, там кулек с чаем, только не спутай с черным порохом, а то взорвешься.

— Порох в мокром теле не взрывается, — сказал Васька. — А если вдруг взорвется друг, то мне совсем не жалко, — тогда на зуб кошачий суп поступит для приварка.

— Рифма мудовая, Василий Николаевич. От такой рифмовки кусок в глотку не полезет. Давай свежую рифму, ну?!

— Если щедрый хозяин не станет меня колоть ложкой и зачерпывать вилкой, то палка к слову «жалко» вполне уместна, — сказал Василий.

Волков вдруг потянулся с хрустом, потом замахал руками, как крыльями, и вздохнул.

— Давайте доедать, а то мысли путаются.

— Ты о чем, Витенька? — спросил Василий.

— Палку хочется бросить, — всхлипнул Волков, — и как можно дальше, чтобы опять попросили бросить, и опять...

— Так нельзя, товарищи курсанты, это истощает учебные силы, а силу мышц мозга деформирует до состояния стирального мыла. Я, разумеется, не против поиграть в городки, но не увлекаться. В конце концов, ты не Павлов, чтобы в семьдесят пять лет палки бросать. У меня к этому возрасту даже слюна течь не будет.

— Валерка прав, — опять вздохнул Волков. — Лучше не мечтать.

— Естественно, делать лучше, чем мечтать. А Валерку надо из училища вышибить, ему путь в филологи, а не в армейские офицеры. Пусть он в университетских коридорах рифмы ищет.

— И палки бросает, — подсказал Виктор.

Тут мы расхохотались дружно и громко, поэтому кот сдернулся с карниза портьеры и спрятался под стул Виктора.

— Животное просится в компанию, — заметил Васька.

— Мы же его суп едим, — вступился я за кота, и в следующую секунду мы услышали громкое мурлыканье из-под стола, вероятно, отраженный звук усилился и как бы замаскировал настоящее место кота под стулом.

— Собственно, мы его рыбы не тронули, — рассудительно проговорил Волков. — Мы просто разделили трапезу. Иди, Вася, ешь, только косточки с газеты не растаскивай.

— И не подумаю, — ответил Василий Козловский. — Но учти, если придешь ужинать в мой дом, я тебе кость брошу на голый пол — грызи, пока не надоест.

— Хотите по рюмке настойки? — спросил Волков, явно стараясь изменить тему остроумия.

— Настойки? Какой идиот предлагает настойки после еды?

— Английский идиот это делает. Он еще сигару предлагает, но у меня нет сигар, и в моем доме не курят.

— Я ни в каком доме не курю, — признался я. — Даже хотенья такого не было — с детства.

— Кузнецов врет, — обиженно сказал Васька. — Он хотел курить с татаринном, а нам говорит, что не хотел курить с детства.

— Надо уметь слушать, Вася. Я сказал, что не курю ни в каком доме — и не курю. Зато курю на улице, в садах и скверах, на рыбалке у реки и в сезон комаров — от июля до сентября, когда кровопийцы издеваются над невооруженным населением.

— Кстати, татарин был старый, молодой? — спросил Волков.

— Да как бы без возраста, но старше меня, зуб даю.

— Как же получилось, что ты с ним в горах столкнулся? Ты о горах думал? Мечтал? Может, видел в кино? Откуда тебе горы навязались? Что-то ты прячешь, парень, или не помнишь. Просто так — без приглашения, без контакта — татарин не явится. Что ты вчера делал?

— Ничего особенного. Дышал, проще сказать. Когда заканчивается неделя занятий, у меня впечатление, что легкие забиты канцелярской пылью, десны пахнут мазутом, коленки щелкают, как счеты... Неужели не могут придумать системы обучения. чтобы слушатели радовались, а не угнетались?

— Кто это тебе будет думать? Влез в школу — учись. Школы не для отдыха изобрели.

— Это и обидно. Учиться надо, отдыхая, тогда ничего не забудешь. А из-под палки какое учение?

— Валера, видите ли, товарищи комсомольцы, без палки ни учиться, ни обедать не желает. Придется пойти на танцы,

где вылавливают доступные радости поколения послевоенных сирот.

— Погоди острить, — попросил Виктор Волков. — У меня такое чувство, что Валера вот-вот вспомнит свой вчерашний день и мы узнаем про его путешествие в горы и встречу с татаринном. Я уверен, что путешествие было выполнено сознательно, но по некоей причине забыто самим исполнителем. Мне кажется, что Валерий сам научился уходить своим астральным телом куда угодно...

— Каким, каким? Я про такое тело никогда не слыхал. Где оно?

— Оно в тебе, друг мой. Ты про душу слыхал?

— Непременно.

— Считаю, что правильнее ее назвать астральным телом. Эзотеристы умели управлять собой, и многие перемещались в пространстве, оставляя свое материальное тело в безопасности.

— Этого ты прежде не говорил, — сказал Василий.

— Не было случая, — просто сказал Волков.

— Теперь случай есть, расскажи про эзотеризм, — попросил я.

— Так не получится. Тема эта серьезная и требует серьезного отношения и серьезных знаний. Я сам толком ничего не знаю, но буду доставать трактаты и книги... Мама говорит, что в городе сохранилось много кружков, где занимаются спиритическими сеансами и изучают тайные знания. Я уже просил ее свести меня с некоторыми, но мама не уверена во мне, говорит, что не замечала во мне сколько-нибудь активной духовности. Она считает, что мне такие занятия повредят. А мне хочется этим заниматься. Ведь сказано, что все мы по образцу и подобию созданы, значит, каждый может заниматься любыми знаниями.

— Любопытно, с чего ты начал интересоваться этой чепухой?

— Стыдно тебе, Валера, так говорить. Дух не чепуха. Дух — общая сила. Мы — каждый — часть общего духа. И если это есть во мне, я должен знать о себе все полностью. А началось со страхов. Знаете, шутки такие дурацкие про привидения, про покойников, которые встают из гробов, про духов, что не умирают и не уходят с места, а шалят — пугают людей, а иног-

да мстят живым людям. Книжечку одну нашел — мать прятала. Там вычитал, что одна лунатичка по крыше ходила, через улицу шла по проводам, как по полу, в окна смотрела и что-то запоминала произвольно, а проснувшись рассказывала как бы сны свои, но это были явные сплетни о соседях. И один пьяница решил ее отучить по карнизам бегать. Подкараулил, когда она невесомо ступала по проводам, и гукнул. И она гукнулась как с третьего этажа — насмерть. Мужика даже не судили — он гукнул на улице, девки не касался, по имени ее не звал. Ну, спустя год у мужика этого то суп скиснет, то свежее молоко свернется, то жена к соседу уйдет. Он запил, а ему на волглосм стекле записка, как пальцем нарисована: «Не тронь слабых, не обижай больных и не купайся в озере». Все думали, что сосед подшутил, к которому однажды жена мужика заходила, спутав кровати. Поехал этот тип в отпуск в дом отдыха, что ли. Полез там в озеро и утонул, а говорили, что он плавал по первому разряду, и озеро было чистое, неглубокое, там никто не тонул.

— Сколько тебе лет было, когда читать стал? Семь? Десять?

— Это неважно, Васенька. Важно, что я поверил и в лунатиков, и в то, что мертвые мстить могут. Потом читал про двух старух сестер, которые замужем не были и так привыкли друг к дружке, что не разлучались никогда. И померли в один день. В их квартиру поселили мерзавца, который жену истязал, детей бил, соседям гадости делал. И началось — в комнатах стали гулять сквозняки, посуда стала падать на пол сама собой, мужику в ботинки то гвоздиков подбросят, то битого стекла. Однажды в суп ему свиная щетина попала. Врачи спасли, но кусок желудка вырезали и кишку окоротили. А когда он принялся буянить, то керосинка свалилась ему на ноги и брюки вспыхнули. Кожа обгорела почти до самого нужного органа. Жена стала за мужа бояться и пригласила знахарку из деревни. Знахарка сестер старух заметила и села караулить ночью у горящей свечи. В полночь свеча загасла. Знахарка опять зажгла. Свеча опять загасла. Тогда знахарка набрала в рот святой воды и прыснула по всей комнате. Старухи как заорут, как ветер в трубе печной, — ууу! А знахарка им говорит, мол, уходите отсюда, живите со мной в деревне, там люди в помощи нуждаются. Больше этих старух не видели и не слышали.

— Ну, батенька, — сказал я, — тебя непременно нужно на посиделки звать. Там девки уснут со страху, а ты им ерша под рубаху, и вали на нечистую силу, они поверят.

— Со стороны это сказками кажется, только сказки люди выдумывают, но заметь, что невозможного выдумать не могут. Я хочу сказать, что информация каким-то образом приходит к нам и мы что-то делаем такое, что кажется волшебством, а на самом деле это знание и умение. Слышали о черной магии?

— Конечно! — чуть ли не хором рявкнули мы с Василием.

— Так черная магия от белой не отличается, просто белую магию называют медициной или врачеванием, а черную — колдовством. Все дело в умысле. Если человек для доброго дела колдует, это правильно, а для злого — уродство. Я добрый человек, я хочу себя узнать, чтобы людям помогать изнутри, из глубины себя, что ли. Эзотеризм и есть знание внутри себя, знание о себе. Неизвестно, когда оно зародилось, но оно разрослось, оно стало научным и все же тайным, потому что невежды могут пользоваться чужими знаниями во вред другим. Упрекните меня за то, что выбрал себе нелегкую задачу и посвящу этому свою жизнь, потому что ничего интересней, глубже и невероятней мне неизвестно. И вам я кое-что уже рассказал, потому что вы мне симпатичны, вам хочется доверять, а откуда возникают симпатии — этого не знаю. Может, все дело в симпатиях.

— Любопытненькая картиночка получается, если смотреть на нее из-под юбки, но в очках. Мне не хочется возражать, но сомнение в том, дорогой Виктор, что человеку совершенно искренне может захотеться исправлять других людей силой, не как правительство — тюрьмами или казнями, а духовной своей мощью. Для меня нет никакой разницы, какая мощь давит — социальная или духовная. Духовная даже подлее, ибо невидима и неосязаема.

— Неправда, сила осязаема, у нее даже бывает цветное выражение, если научиться видеть это. Симпатии тоже работают для блага...

— А что, блага уже определили? Уже без ошибки знают, вот это — благо, а это — горе и гибель? У меня фамилия упрямая — мне нужно точно знать, что хорошо, что плохо. Ты это знаешь?

— Если честно, нет, но кажется, я это чувствую. Остается проверять свои чувства.

— Я проверял свои чувства на сестрах — обе чувственны до бесчувствия, обеим нравились упражнения по проверке. А потом обе отхлынули от меня, чтобы упражняться с законными мужьями, уже получившими воинское звание и дипломы. Правда, обе не против свиданий, зато я против, лучше в кулак кончать.

— Ты можешь без грязных примеров выступать? — вскипел Волков.

— Мальчики, детишки, пионеры, не пойдем служить в милиционеры и не будем больно бить баклуши на постели у простушки Груши. Надо быть сдержаннее и приветливей к себе и своим друзьям, а врагов у меня еще не было, кроме внешнеполитических, но их нам видеть не обязательно. Ведь мы — артиллеристы, мы можем палить по врагу издалека и оставаться как бы с чистыми руками.

— Что ты городишь, Кузнец? За такие речи вышку воткнут, знаешь?

— Если не донесут, то не воткнут. И думать я себе запрещать не желаю. Офицер или рядовой — все равно служивый, но это еще не значит, что ты убийца. Я убийцей не поступал учиться, хотя техническая сторона меня привлекает.

— Чем? — спросил Волков.

— Ребусом или кроссвордом — хочется поставить в пробел правильное слово, раскусить определение, раскрыть тайную суть математической интриги.

— Наверно, за это ты мне и нравишься — за умение назвать свой интерес или свое желание. Чуткая у тебя душа, скажу я.

— Да где она? Тут? — я стукнул себя кулаком в грудь. — Или тут, за лобной костью, где киснет серое вещество головного мозга? Или душа моя в пятках? Или стоит в стороне и хихикает над мясостным составом молодого человека?

— Возможно, что стоит в стороне и наблюдает тебя. Иначе тебе в горах не очутиться, татарина, который испарился, не увидеть. Может быть у тебя природное умение отделять астральное тело в любое время, а ты об этом не знаешь и делаешь бесподобные вещи.

— Ты хочешь сказать, что всеизвестная душа и неведомое астральное тело — одно и то же?

— А что тут невероятного? — вопросом ответил Виктор.

— Тогда Расскажи мне об этом подробнее.

— Если вы не против, я свалю, — сказал Василий. — У меня время запланированное, а часы назад не ходят. Если буду нужен, позовите, ладушки?

— Иди, блудень, — махнул рукой Волков.

— А почему ты не блудишь? — ехидно спросил Василий. — В хоккей ты не играешь ни на траве, ни на льду. Запрещенные танцы не пляшешь и чачу не пьешь. Ча-ча-ча! Прощай, Волча!

Васька выскочил за дверь, а Волков надулся. Мне захотелось скрыться от обоих, но вежливость держала меня в кресле. Молчание затягивалось, и я пытался выглядеть кота, чтобы найти животную причину разговора или расставания. В Викторе меня несколько смущала смелость его признаний, какая-то комплиментарная смелость, от которой хочется уклониться. Я уже подумал, что с этого и начну — скажу, что не горю любовью к похвалам себе, что считаю это лишним достатком, который мешает существованию.

— Ты о себе думаешь несколько старательно, поэтому тебе кажется, что достойные качества твои мешают другим, а недостойные служат как бы мостиками между разными берегами. Понимаешь меня? Ты знай себя, но не обманывайся собой.

— Лучше говори о душе.

— Что о ней говорить! Есть она у каждого человека...

— А у лошади тоже есть? — напал я.

— Какой лошади?

— Скажем, у лошади Пржевальского или у лошади Буденного.

— При чем тут лошади?

— При человеке, при жизни. Когда умирают кони — они дышат. Когда умирают люди — поют песни.

— Красиво звучит, — сказал Виктор.

— А по-моему, это звучит прекрасно, только и в прекрасном не вижу души. Может, в этом есть астральное тело?

— Ты шутишь, а серьезными вещами не шутят. Я правда так думаю, что астральное тело и душа — одно и то же. Где это в нас — не знаю, возможно, что в каждой клетке живого тела. Потому что человек не умирает, если острижет волосы или ногти, напротив, у мертвецов волосы и ногти растут. И у калек что-то физическое отпадает, но духовное неизменно, пока

душа не покинет свое тело. Я читал, что астральное тело бывает видимым, оно может быть как бы повторением материального тела, но не каждый так духовно силен, чтобы стать еще своим дублем. Где-то, помню, читал, что люди, которые видят себя со стороны, очень пугаются, им кажется, что смерть уже наступила. Кто самопроизвольно уходит из своего тела, должен быть осторожен: если посторонняя сила пройдет между человеком и его астральным телом, он умирает, связующая нить рвется.

— Да как можно выйти из своего тела? — почти прокричал я.

— Это делают проявлением воли. Настраивают себя так, что все виды энергии твоей делаются тебе послушными. Некоторые повторяют заклинания или молятся, чтобы сконцентрироваться. Иные работают воображением. Кто на что способен. Это дело самой личности — выучиться владеть собой. Мне думается, что ты был в горах своей астральной частью, но ничего не понял, поэтому ничему не поверил. Попробуй медитировать.

— А это что за зверь?

— Это не зверь. Медитация — это духовное упражнение на сосредоточенность, на скопление энергии, на проявление воли. Нужно отрешиться от помех и от помощников, быть одному во Вселенной, пустить Вселенную в себя, стать неразрывным с энергиями жизни. Поверь мне, я не знаю, о чем говорю, но мне нравится воображать результат, который все же непостижим.

— Я не обману твоих ожиданий, — старомодно сказал я Волкову. — Что делать теперь? Медитировать? Онанировать?

— Пойдем плясать? — спросил он.

— Очень приземленное занятие, но увлекает, — ответил я почти без иронии.

Мы вдруг пожали друг другу руки и почувствовали себя заговорщиками.

В заводском клубе танцевали под эстрадный оркестр — аккордеон, гитара, ударник, скрипка и труба. Шептали, что саксофонист приболел, что после десяти часов вечера будут гонять джазовые пласти. Волкову повезло — на него налипла девчонка, явно распутная и настырная, она жалась к нему и пыталась целовать его в губы. Мне стало завидно, но оккупировать чуждых аборигенок не хотелось, а сами они поглядывали на меня настороженно, хоть и похотливо. Нет, этот вечер не был

целовальным, не будет и любовным. Мне предстоит... А может быть — надлежит? Обязывает или требует?! Что это за данность у меня, которая опасна и видима, но не мне?

Я вышел покурить к туалету и автоматически зашел в помещение, где пахло мочой и солодом, словно там пили и ссали одновременно. В зеркале увидел себя — так, ничего особенного, ничего отвратительного: чистые каштановые волосы, густые и послушные, шутливые глаза и паскудная улыбочка, словно губу мне оттянули книзу только с одной стороны. Да, Валерий Иванович, пора в койку, пора порадовать мать возвращением в дом до полуночи. И поговорить с мамой неплохо бы, чтоб не мучилась моей судьбой.

Выплюнув папиросу в писсуар, я выскочил из коридора к гардеробу, где у входной двери вяло дежурил комсомольский патруль. Знакомое лицо мне улыбнулось, знакомый голос спросил:

— Надоело? Сваливаешь?

— Мне пора. Мама ждет, — сказал я.

— Передай привет, — сказали мне.

Конец сентября был замечательно пригожим — сухим, теплым и лиственным. Если бы не тьма в переулках, можно бы подумать, что кругом майская весна. Я наслаждался дыханием — и своим, и деревьев, и улицы. И даже придумывал первую фразу, с которой нужно начать разговор с мамой. А мама спала — не будить же ее для болтовни. Я залег в свой угол — за шкаф, разделся догола и укрылся простыней. Совершенно невольно я представил себя в темноте под белой простыней. Потом мне почудилось, что я смотрю на себя с потолка. Потом я увидел нашу улицу как бы с птичьего полета. Крыша дома покрашена грубо и пятнисто — местами железным суриком, местами — свинцовым. А под крышей внизу лежал я под простыней. Я видел себя сквозь крышу и чердак, сквозь перекрытия и мебель чужих квартир. Я видел, как спит мама, тяжело дыша и прикрывая рот полной ладонью. Потом я услышал голос трамвая на соседней улице и вдруг догадался, что астральное мое тело вышло из меня, что я могу быстро передвигаться в любую сторону. Я опустился до уровня потолка в комнате. Мое тело выглядело пустым и бесполезным, потому что весь я был над ним. Между мной и телом струилось что-то живое, едва ви-

димое, как холодный воздух в теплый день. И вдруг мелькнула мысль, что нечто может пройти между мной и моим телом, и тогда утром мама найдет мой труп. Меня окатила паника. Темное пространство со всех сторон стало набрякать, как губка, делаться желейным и — отвесным. То, чем я был связан с телом, стало белеть, оно было пустотелым, как труба. Огонь и воды и медные трубы... Не медные трубы, трубы — и все. Со всех сторон набрякающей ночи побежали вертикальные змеи огня, как молнии. Меня качало. Что могло качаться? Наверное, мои взгляды. Как только я смотрел куда-то за предел набрякших стен, подкатывала волна как бы подо мною. Мой взгляд шараялся вслед волне, и тогда новый качок проходил подо мной. «Даже волна может срезать меня», — мелькнула мысль. Животный испуг вдруг затормозил качку. Я поймал тяжесть паники и в ужасе упал за шкаф, зарылся в простыню. Страх был такой силы, что мои зубы скрипнули и кусочек эмали откололся с резца. Я закрыл глаза так плотно, что увидел багровые круги. Потом я себе шептал ласковые слова, как взрослый маленькому. Потом уснул...

Утром с мамой была истерика. Я даже хотел вызывать неотложку. Но обошлось, то есть мама успокоилась. Волнение осталось для меня — я не мог смотреть на себя в зеркало, там показывали кого-то другого, там был тип, очень похожий на меня, но с литыми тяжелыми глазами и совершенно седой шевелюрой. Как я пойду в училище? Что скажу начальству? Что — ребятам? Кто выкрасил меня в старость за одну ночь?

Бытовые мои страхи были пустыми. Начальство просто не заметило моей седины. Ребята потешались пару часов и отступились или — позабыли. Василий Козловский сказал мне, что я стал неотразим для чувих. И только Виктор Волков от меня отстранялся, словно я его предал или обидел.

Что это было — проявление данности? Астральная прогулка никуда? Или смертельное воображение, которое все же меня не убило. Но эзотеризмом больше не увлекался, хотя механизм предчувствий во мне так силен, что вполне допускаю возможность духовной связи людей на любом расстоянии.

Со временем погодки мои устарелись и поседели, а я полысел. Если бы не щербинка на резце с правой стороны, я бы сам позабыл о мятежной юности. И правильно, если б забыл.

Время как бы сорвалось с цепи, погнало галопом вместе с микрочастицами в жар ядерных реакций, где энергии бешеных скоростей просто убивают беззащитный народ. Никакая духовность не выдержит силы глупости. Никакая данность не спасет астрального тела в эпицентре... даже по соседству с центром несчастья в Чернобыле, как ныне, или в Хиросиме, как было прежде. Эзотеризм нынче мне кажется сказкой, словно моя юность.

2. СУЧОК

В молодости мы умничаем даже тогда, когда делаем глупости. Зато в старости мудрость прёт из нас, когда надо и не надо.

Так выглядит общая формула подворотен или посиделок (зависит от места рассуждения — город или деревня) по осмыслению жизни. Формулы — выдумка, поэтому объяснимы, и если взяться объяснять, то мудрость, когда надо и не надо, становится глупостью, а глупости молодости превращаются в зависть самому себе, ибо мы вспоминаем не для удовольствия, а для примера. Собственных примеров обычно кот наплакал, и для убедительности мы заимствуем факты из чужого багажа, что не угнетает прошлым, а дает весомость былому былого. Это тебе не белуга воображения, а сама селедка реализма. Заменим слово «весомость» на слово «тяжесть» — и всё удовольствие вместе с поучительством летит к матери, чей точный адрес утерян (для одних — к чертовой, для других к божьей, а для третьих и сказать стыдно про мать-то).

В моей жизни глупостей было никак не меньше, чем в вашей, думаю — и не больше. У людей все как у людей, то есть в среднем — согласно статистике, которая швыряет цифры о нас, о наших предках, о врагах, о долготе жизни и о пользе дисциплины.

Стоп! Кажется, заврался. Дисциплина принадлежит поведению, польза которого индивидуальна. А мадам статистика напоминает бачки мусора возле жилого дома, куда выбрасывают непригодные данные, то есть статистика есть часть общественных отходов, из которых все же извлекают некие ценности в виде усредненных местоимений или междометий.

Примером междометий может стать удивление деревенщины, побывавшей в Москве:

— Церквей в Москве — боже ты мой! А кабаков — ну гребут, твою мать!

Про местоимения, пожалуй, расскажу на примере из своей жизни, причем в первом лице единственного числа постараюсь местоимение не произносить — у нас на заднем дворе утверждали, что «я» — последняя буква алфавита. Во дворах всё знают, а знанию надо верить. Дальше знания ехать некуда — я да я, лошадь не моя — куда ни тяни, а ни с места.

Теперь суммирую все четыре с гаком абзаца, чтобы рассказать о мудрой молодости, которая делает глупости, чтобы скатиться к статистике и проявить человека в среднем как отходы его собственной жизни.

Самым нужным и желанным в нашей молодости была — хата (хоть где, хоть какая комната, а квартира была просто чертогом царским для наших привычек). Зачем хата? Ради возможности собраться за праздничным столом, выпить, закусить, песни попеть и свет погасить. При погашенном свете полной тьмы не бывает. А в тот вечер, который послужит примером всех глупостей, комната была на втором этаже и уличный фонарь светил внутрь жилья с той статистической силой, которую запланировали мудрецы из Ленэнерго. От фонаря мы несколько офонарели. Нельзя сказать, что от фонаря было светло, как днем, зато все лица похорошели — в полумраке много мелких неприятных черт делаются невидимыми, а неприятные слова при таком освещении кажутся смешными. К счастью, в тот вечер мы не танцевали — ни гитариста не было, ни патефона. А свет погасили. И как бы притихли. Напряженно притихли — еще ориентировались на глаза и уши соседей.

— Витичка, расскажи анекдот! — попросила дамочка или девица — не видно было, кто она. Витичка, напротив, даже без света выделялся голосом и шарканьем. Никто из ребят в ту ночь не умел так шаркать и так внятно говорить непристойности.

— Какие тут анекдоты? Свет погашен — шупайтесь! Просите Владьку, пусть расскажет, у него целая книга анекдотов в кармане.

Владлен был почти что новеньким в компании — он пришел в составе как бы мужской когорты римских захватчиков в

гости к маркитанткам, сопровождающим победы и праздники всей страны. Мне было сказано заранее, чтобы явилось четверо парней. Нас было трое — постоянных гуляк, но нарушать соглашение или приглашение мы не имели ни желания, ни права, в противном случае нас больше на праздник не призвали бы.

Странно, что появление Владлена насторожило наших женских подруг, хотя он выглядел статным, опрятным и не пьяным. Чужие вообще выглядят лучше своих, откуда ж настороженность?

Оттуда. Если у человека в кармане книга с анекдотами, это, вероятно, женщины чувствуют. И побаиваются: вдруг о них!

— Можно к окну сесть, а то не видно...

Он не сказал, что не видно женщин, что он еще не определил себе мишень, а за хиханьками можно приглядеться к счастью на весь вечер, потом подсесть и так далее. Ему, разумеется, не запретили, и Владлен оседлал венский стул, подставив фонарю спину. Лик его стал невидим, голова словно уменьшилась, плечи уширились и распрямились — он стал как бы силуэтом, вырезанным из ночи.

— Какие анекдоты вам нравятся? — спросил он.

— Любые, — пробубнили голоса.

— Можно про любовь?

— Даже про аборты можно, начинай.

Владлен извлек толстую записную книжку, разломил ее пополам и подставил под свет фонаря. Были видны руки его, была видна записная книжка — прямоугольным пятном. Силуэт его несколько перекосило движением к свету, но это не помогло чтению.

— Не видно, — сообщил он. — Не прочесть. На память сразу не вспомнишь.

— Гони без памяти, — посоветовала Иришка, молодая офицерская вдова, чей супруг погиб на маневрах или учениях где-то в Сибири. Некогда в честь этой трагической случайности мы впервые собрались у нее на поминки. Поминки затянулись. В час ночи мы пели песни. В два — погасили свет и любовались фонарем, который заглядывал в окошко. Это было по весне, а нынче сменился год и шел декабрь. Фонарь сиял алмазным светом, а снег и наледь отсвечивали изумрудом и топазом.

— Может, на сейчас без анекдотов обойдемся? — нерешительно спросил новичок.

— Если обойдешь нас на кривой, обойдемся, — опять напала Иришка. Вероятно, ей парень не приглянулся вовсе, поэтому цепляла. Вообще-то она добрая, отзывчивая и покладистая, но лучшим ее качеством все же была забывчивость — она никогда не напоминала о себе или о своих желаниях, не звонила ни домой, ни на службу, но охотно принимала нас, если ее предупреждали, что придут гости в честь праздника или тезоименитства. У нее была наша хата, она в ней проживала!

Владлен был из гибких, несбиваемых с толку молодых. Выкрики Иришки он принял за призыв к более тесному знакомству и решил создать такую дружественную атмосферу в одной комнате, которая помогла бы ему присоседиться и отделиться одновременно (присоседиться к ней, а отделиться от остальной банды пирующих). Он пересел вместе со стулом к столу, придвинутому к изразцовой печи, и перекрыл тропинку, по которой Иришка могла передвигаться в комнате. Маневр создания телесно-мебельной баррикады никого не шокировал, зато предложение Владлена раздалось, как гром в ясном, но темном небе.

— Давайте лучше рассказывать о себе, — предложил он. — По кругу. Но самое тайное, самое жуткое или самое стыдное. Даже можно краснеть, все равно не видно. Сперва сосчитаемся — кто начнет. Эники-беники ели вареники, вынули валенки у тетки Вареньки, а потом грохнули Федьке по редьке, Мишке по шишке, а Нюре где?

В рифму сказать он не успел, потому что интеллигентный Витя Винегрет почувствовал подвох и грубо рявкнул:

— Заткнись, арифмометр, начинай с себя.

Вся наша банда без причины заплодировала. Точно, не приглянулся Владлен в компании, и это моя вина — Владлен был мне приятелем со школы, мне он нравился — человек без уныний, улыбок у него на каждый день не меньше сотни. Ну и праздник-то дурацкий — День Конституции, когда люди делают торжественными и серьезными без причины. Кого же еще звать в компанию на такой день?!

— Почему надо рассказывать о себе плохое? — мило спросила Елизавета, которую мы звали Лизеттой за пристрастие

к французским романам, обычаям, духам и манерам, правда, весь объем французистости она собрала из слухов и бульварных романов издания Вольфа, но это ее нисколько не портило.

— Это не я придумал, — честно сказал Владлен, — так играли дворяне при царе Горохе. Если человек имеет смелость признаться в своих грехах, значит, надежен — с ним можно пойти в разведку.

— Не думаю, что это что-нибудь значит, — возразил инженер Гаврилов, самый привлекательный жених из нашей шайки, потому что его не выгнали из института с третьего курса, как некоторых, потому что он работал над кандидатской и потому что он получил место главного механика на маленьком заводе, а это обещало дальнейшее плавание по должностям вверх по течению.

— Человек, который при любом случае говорит о своих грехах или тайнах, либо дурак, либо подлец, — продолжил Гаврилов.

— Третьего не дано? — иронично спросил Владлен.

— Третье — показуха и заказ. Если закажут варианты, то появятся третьи, четвертые и далее в энной степени, где икс будет положительной единицей, а игрек — нулем.

— Зачем — нулем? — раздался голос девушки из-под плеча инженера.

— Чтобы результат был определенным, — сказал Николай Гаврилов.

— Тогда любой результат будет нулевым, — начал Владлен.

— Этого и добиваются люди, заказывающие варианты, — парировал Гаврилов.

— Мальчики, мне это не нравится, — вступилась Иришка. — Вы договоритесь до политики, соседи услышат и меня со света сживут.

— Мы им этого не позволим, — строго сказал Винегрет. — Мы сохраним тебя, твою комнату и этот очаровательный фонарь, который я расстреляю из рогатки при первом удобном случае. Только в белые ночи он молчит...

— А ты откуда знаешь, что в белые ночи он не светит? — возникла главный бухгалтер наших вечеринок Светлана Тимофеевна Кочергина, дама разведенная, но бездетная.

Винегрет смешался и не стал отвечать, зато Иришка пропела речитативом:

— Кто же не знает, что белыми ночами фонари не зажигают в городе? Впрочем, я засыпаю рано, может, и белыми ночами фонарь горит, точно не помню. Надо будет проследить.

— Не надо следить, пусть сыщики следят, — неожиданно резко сказал Владлен. — Это прекрасный фонарь. Кому не нравится, может закрыть глаза. Или занавесить можно...

Иришка очень мягко и плавно пролилась между сидящими, не произведя ни шума, ни неудобства. Она опустилась мне на колено и невесомо облокотилась на грудь. Моя рука автоматически замкнула ее, поддерживая в стабильном состоянии. Но грудь моя раздулась от тепла. Мое сердце стало нервничать, замирая и подпрыгивая. Она сразу все почувствовала и поняла и поцеловала меня в шею под ухом, для чего ей потребовалось как бы вползти на пять вершков вверх по моей груди, которая была колесом, как у солдат кремлевской охраны. Чтобы не съехать вбок с покатой груди, Иришка опустила ладошку мне ниже пояса.

— Занавесить можно, но нечем, — сказала она прохладным хозяйским голосом. — Учту пожелания гостей для следующего раза. Вы не обидитесь, ребята, если я прилягу вздремнуть? Боренька меня посторожит. А вы, когда наговоритесь, прикройте дверь, только хлопнуть ею не надо.

— А свет зажечь можно? — спросил Владлен.

— Ой, конечно же! Надо допить вместе, а то праздника не чувствуется, если в бутылках что-то остается.

Вспыхнул электросвет. Мы были ослеплены на несколько секунд. Потом все дружно завозились, заулыбались, защебетали. Гаврилов поднял с полу самого главного бухгалтера, а из-под нее взял свой пиджак.

— Светочка, — сказала Иришка, заметив маневр инженера, — если вам спать негде и вы останетесь, я принесу одеяло и подушки.

— Я сама принесу, знаю, где сундук, — сказала Светлана. — А в ванную можно?

— Думаю, что да, я соседям сказала, что будет компания, они не возражали.

Кажется, Винегрет тоже не спешил домой, и вместе с ним не спешила Лизетта. Только Софочка несколько страдальчески поглядывала по сторонам и застегивала вязанную крючком

кофту на толстые пуговицы — до горла, — кофта обволакивала ее могучую грудь, которая была все же уже пояса. Владлен был удивлен обилием Софочки и присел возле нее, она тотчас покраснела и улыбнулась очень привлекательно. Можно было вознести молитвы о благополучном распределении увлеченных пар в день святой Конституции, которая так недавно была самой сталинской. Моя совесть была чиста: приятель не был обманут пустыми обещаниями любви и счастья, теперь его дело — добить врага в его логове, что не должно быть трудным, ибо сопротивление сломлено, а восстановительных работ по обороне никому не нужно.

Додумать положение солдат и маркитанток в комнате до вероятного и удобного расположения для битвы мне не удалось из-за товарищеского шума и выкриков, причем шум был как в коровнике — дышащий шум и немножко скрипучий стульями, а выкрики радовали заботой.

— Разогрей горячее! — попросил Винегрет.

— Лучше смешать остатки, — сказал Гаврилов про напитки.

— Ой, пить будет противно, — предположила Светлана.

— Зато берет за душу, — с поклоном пояснил ей Владлен.

Софочка ревниво глянула на Владлена, но он к Светлане не клеился, он уточнял действие алкогольных смесей, чем увлекался почти со спортивной настырностью. В нескольких бутылках на столе для Владлена была как бы лаборатория экспериментальных материалов, он их придвинул к себе, чтобы создать коктейль. Он выглядел ученым, а с учеными не шутят. Софочка успокоилась и одной из первых выпила почти полный фужер сливок... шартреза, портвейна, водки и сухого вина, про которое Владлен сказал приблизительно так:

— Заканчивая процедуру, добавим в состав *сухаго* — это позволит выявить смягчающие душу привкусы и, может быть, искусства.

— Иксы отменяются, — сообщил Гаврилов, — он почти догнал Софочку, но в его стакан Владлен позабыл плеснуть *сухаго*, а капнул рассолу из банки соленых огурцов.

Николай Гаврилов, кажется, проглотил свое образование вместе с обычным вниманием к словам приятелей. Иксов никаких не рисовали, и никто из нас даже не икнул. Надо думать,

что острое течение рассола загнало хмель к самой макушке инженера, потому что у него от шеи на скулы полезли красные пятна, а глаза прослезились. Светлана Тимофеевна срочно промокнула инженерные глаза тоненьким платочком, а потом поцеловала один из них, вероятно, самый доступный.

У меня все это возбудило чувство юмора, которое усилилось от смеси ликера с красным перцем, сырым желтком куриного яйца и порцией водки, — рот мой отворился, как у разини, а рука опрокинула стакан дном вверх, но из пальцев не упустила. Гремучая смесь влетела в меня, толкаясь локтями, поэтому через три секунды левая рука, свободная, как тряпка на веревке, вдруг вцепилась в то, что было некогда окороком, — в рульку, остаток ноги, скорей всего кабана, потому что свинья была бы сочнее и слаще.

— А ты? — спросили Владлена несколько голосов.

— Мне бы сучка, — мечтательно прочавкал он, ибо рот его был полон шпротным маслом — он уплотнял пищу, изолировал себя от быстрого хмеля, предполагая длительную прогулку по морозному воздуху от поцелуя до двери парадного или даже до подвала.

— Что это? — удивилась Лизетта.

— Денатурат, — сухо сообщила Иришка. — От него можно ослепнуть.

— Мне не страшно, — сказал Владлен, — у меня последняя стадия чахотки, не заразная. Еще пара недель — и лапти отброшу.

— По виду не скажешь, что чахоточный. Румянец во все щеку...

— Да он треплется просто...

— Боренька, скажи, он врет или правда, что умирает?

— Клянусь, что все мы смертны, хотя это плохо заметно в день Конституции.

— Боря, ко мне! — сурово приказала Иришка и хлопнула ладонью себя по ляжке. — Я тебе запрещаю выступать как на профсоюзном собрании, сиди рядом, целуйся и помалкивай.

Ослушаться женщину, которая определила мою судьбу в праздничный вечер, было немыслимо, как невозможно было перенести тяжесть собственного тела хоть на полметра. Легкий коктейль налил меня таким весом, что стул подо мной хотел распластаться.

Иришка все же сбегала на кухню и притащила синюю бутылку денатурата. Владлен на наших глазах стал получать философский камень, стравливая вместе шартрез с портвейном и денатурат с красным соусом от котлет, потом туда запустил целый маринованный гриб — шляпку на ножке. Жидкость не взорвалась, цвет ее был подобен цвету воды в пожарной бочке на объекте, где несколько лет не возникало пожаров. Только масляная шляпка гриба качалась в пиале, как поплавок. Он взял пиалу двумя мусульманскими ладонями и медленно высосал, вытянув губы.

Винегрет упал от отвращения. Гаврилов от восторга топал ногами. А женская камарилья дружно прослезилась от сочувствия и, может быть, от зависти, потому что позволить грешную вольность и нахлебаться хмельных помоев наши дамы себе не разрешали.

Последней каплей разума был освещен прием портвейна без примесей, — портвейн был такой красный и такой благородный, что любая примесь могла бы сойти за кровосмешительство. Рубиновый свет облил меня. Рубиновые губы шевельнулись так близко, что моя душа сложилась, как тетрадный лист, на котором Иришка намеревалась оставить праздничные письма.

Такими словами можно было бы обозначить отчет о праздновании Дня Конституции в компании интеллигентных или почти интеллигентных молодых людей разного полу, даже можно сказать всех трех полов, так как пол у Иришки был паркетным и очень трескучим. Если этот пол не брать во внимание, тогда остается гнусный намек на Винегрета, про которого говорили, что у него пол нейтральный. Многим эта сплетня грела сердце, но мне клепать на Виктора нет нужды, ему и прозвища довольно, а Лизетта, с которой мы провели несколько дружеских бесед обо всех товарищах, с пеной у рта шептала, что он (Винегрет) совершенно нормальный мужик, просто очень чувствительный, ему слова поперек не скажи — надуется и отвернется спиной. Зная Лизетту за честную девушку, которая с высокой сознательностью шла на помощь каждому из нас в минуту неясной тоски от несбывшихся желаний, повторяю, опираясь на ее добровольные признания, что Виктор Винегрет — настоящий мужик, иное дело — бабы на него не падки,

так за это качество не обвинишь ни одну из них, ибо женщина, как музыка, узнается при полном внимании и при наличии удобного места, а у Виктора Винегрета ни того ни другого за душой не водилось.

В ту ночь меня, Иришку и инженера Гаврилова разбудил звонок. Светлана глаз не открыла и даже храпеть не перестала. Это вернулась Софочка — вся в слезах, с бурным набором возмущений, адресованных судьбе, празднику, родителям, которые так неумело вывели ее на белый свет, и нам с Иришкой — людям, которые свели ее с Владленом. Заметьте, что про Винегрета с Лизеттой слов нет, потому что они спали под столом, занавешенные скатертью. Человеческая возня их не достигала.

При массе в — приблизительно — восемьдесят килограммов Софочка была легка на ногу, владела телом не хуже цирковых акробатов, но оставалась излишне эмоциональной, как тощая шлюха. От сильных чувств голос ее делался тоньше дисканта Рины Зеленой, и слава богу, что она умела этот писк не повышать до трепещущего звона, от которого лопаются граненые стаканы.

Впустив Софочку в комнату, Иришка, обернутая по бледному телу простыней, упала на койку, успев спросить на лету: «Что случилось?»

Вопрос был формальный, ответа она бы все равно не услышала, потому что на праздничных случаях у Иришки первыми закрываются уши, затем — глаза, а стыдливость она по праздникам не носит вообще. Софа об этом знать не могла — ей спать с Иришкой не приходилось, поэтому крупная женщина стала причитать, сведя ладони под носом:

— Он просто ненормальный! Правда, правда! Повел меня в сад, а там снег даже на скамейках. Потасил за дровяные сараи, знаете, это в проходном дворе. Почти все сараи снесли уже, а доски и жесь не убрали. От каждого шага грохот, как пальба. И холодно. Он говорит, мол, идем на кладбище, там склепы с крышами. А у нас лестница теплая, я домой хочу, ну на лестницу. Отопление паровое. В подвале тоже тепло, а у чердака такие толстые трубы — все в изоляции, а поверх мешковиной обмотаны и покрашены. Можно сидеть, как на диване. Лампочка, правда, разбита, поэтому темно. А этот остряк говорит, что в

темноте только кошки... Там, действительно, кошками пахнет. А где не пахнет? И повел меня на лестничную площадку к окну. Я не сообразила — пошла. Он говорит:

— Ты гляди в стекло — в сучок, чудеса увидишь.

Мотаю головой — ищу сучок и найти не могу. А он там возится — из подола парашют сочиняет. Дурак, что ли... Зима же, я аккуратно одеваюсь, а он рвать стал. Мне мама подарила пару трико... Не бросать же на ветер подарки?.. И лягнула его — тихонечко, не глядя.

— Когда не глядя стреляют, всегда в мишень попадают, — подтвердил инженер Гаврилов. — В другой раз целясь, тогда не попадешь.

— Это он про себя рассказывает, — чистым и бодрым голосом пояснила притвора Светлана Тимофеевна.

— Не про себя, а про всех сразу. Спроси у Борьки, он с бабами всегда глаза закрывает, и девки о нем слова плохого не говорят.

— Так он ничего плохого и не делает, — призналась Кочергина. — Это с тобой горе на всю неделю. «Когда встретимся?», «Я тебе понравился?», «А как лучше — сверху или снизу?»

— Замолчи, пожалуйста. Если не гожусь, больше с тобой не сяду на одном километре.

— Ты со мной и не сидел никогда.

— Устают ноги на работе, хочется лежать, — объяснил инженер Гаврилов.

— А у меня ноги не устают!

— У тебя работа сидячая. Знаешь, что будет через десять лет, если работу не сменишь?

— Что?

— Задница будет плоской.

— А у тебя будет мозоль на языке.

— Мозоль не шанкр — переживу.

— Что такое шанкр? — спросила Кочерга, самой интонацией показывая, что подразумевает ругательное слово в свой адрес.

Пришлось вступить за Гаврилу — он мог наговорить подруге таких справочных данных, что прочная связь нашей компании могла лопнуть на разрозненные нити.

— Смотря какой, — ответил я Светлане.

— А их несколько?

— По крайней мере — два: твердый и мягкий.

— И что? — недоуменно спросила она.

— Лучше иметь твердый шанкр, чем мягкий характер, — сказал главный механик какого-то завода.

— Что ты мне голову крутишь? — обиделась Кочерга.

Николай Алексеевич Гаврилов вдруг подул в лоб Светлане и прошептал заклинанием:

— Спирохета бледная дохнет на ветру за девять секунд. Раз, два, три, четыре, пять...

— Я не спирохета! — зашипела Светлана.

Николай Алексеевич неожиданно смутился и стал целовать ручки и ножки Светланы, и мы с Софочкой увидели, что Кочерга в чулках на поясе, а вся иная женская мебель спряталась в подушках. Странно, что Гаврилов был оседлан в сорочку с галстуком, только у сорочки рукава были закатаны.

Мне тоже стало неловко, ведь получалось, что мы подглядывали весьма сложные и тесные отношения наших друзей. Считать их ссору и примирение спектаклем мы не могли — очень естественно и искренне они друг друга любили и ненавидели.

— Может, погасим свет? — спросил я Софочку.

— Мне сидеть на стуле в темноте? — ответила она.

— Зачем — сидеть? Мы подвинем Иришку. Вдоль ты не поместишься, но если лечь поперек, то найдется кусочек места даже для меня.

— Найдется, — уверенно сказала Софа.

И мы опять погасили свет. Под столом, завешенным скальтертью почти до самого пола, раздался скрежет и треск паркета. При овощной кличке Винегрет ворочался, как танк, или стучал коленками в пол, как пулемет, — нам было не видно деталей технического исполнения шумов. От скрипа и цоканья, от вздохов со свистом и гыком хотелось скрыться в землянке или в траншее, а на худой конец — в бомбоубежище, расположенном в соседней школе, но школа была закрыта, а до солдатских хором времен Второй мировой войны было много километров ночи и мороза. Осознав прискорбный факт тощего одиночества, мое тело опустилось в теневую яму у стены, боковой для уличного фонаря, глубокую, как омут, и, кажется, поплыло. По крайней мере, подо мной ходили теплые волны, меня перекачивало, как одинокое бревно, — то нагоняя на бе-

рег, то стаскивая с берега. Потом мягкие ладони Софии Павловны стали поглаживать мою спину и изредка щекотать. Стало очень смешно и комфортабельно, как на мягком спальном месте «Красной стрелы», только качание было килевым, а не бортовым. Я стал хихикать, всхлипывая.

— Прекрати скалиться! — приказал Гаврилов.

— И ты — тоже — помалкивай...

— В тряпочку, — хихикая, добавила София Павловна.

— Вот Ирка проснется, она тебе тряпочку покажет, — угрожающе сообщила главный бухгалтер наших вечеринок.

— Не твое собачье дело, — отрезала Софа.

— Совесть надо иметь...

У Софии Павловны в этот момент совести не оказалось. От пререканий у нее участилось дыхание и сердце стало трепетать, как птица. Потом она тихо ойкнула и обхватила мою голову богдыханскими лапами. Что-то конвульсивное билось в ней, качая меня. Потом она вывернулась наружу, поместила меня вдоль койки и на ощупь покрыла одеялом. Иришка закинула на меня руку, не просыпаясь.

— С праздничком, мальчики, — шепотом сказала София Павловна.

— Ты куда? — удивилась Кочерга.

— Домой, милочка. Выплюсь и приду. Мамка студень варила, может, принесу пару тарелок. Спите!

София Павловна ушла, как наплыв сквозняка, без шума, но с волнением. Напряжение во мне опало. Глаза смотрели в освещенное окно как бы слепо. Скоро захрапел инженер. Под столом была тишина. Иришка причмокивала во сне. Вдруг на стекле стал виден сучок — дефект литья, оставленный случайной каплей жидкого кварца. Вокруг сучка роились золотисто-зеленые круги, а сам сучок то блестел, как огонек, то мерк дочерна. Эти мерцания меня усыпили.

Завтракали мы в обед.

Обедать не пришел Владлен Баскаков. София Павловна тревожно поглядывала на нас и дергалась при каждом звонке в наружную дверь, значит, какой-то специальный след Владлен оставил в душе толстушки.

Кочерга была нейтральна — что-то ее не устраивало в декабрьской жизни. Лизетта веселилась и толкала Винегрета

ногою под столом, но так, чтобы все это заметили. Гаврилов не выдержал и сказал:

— Предлагаю после еды прогулку, чтобы Виктор остался тут мыть посуду и натирать паркет — вместе с Лизкой, они недохижикали.

— А по-моему, праздник закончился, — строго сказала Иришка и глянула на Гаврилова долгим давящим взором.

— Значит, пойдем по домам, — сразу сдался инженер.

Все молча согласились. Больше всех согласия было с моей стороны, потому что, в принципе, все женщины (замужние, вдовы и свободные) были со мной в одинаково дружелюбных отношениях — мы предпочитали друг друга без обязательств, но было ясно, что такая малина должна отцвести. Иришке шел тридцатый год, она была хозяйственной и мечтательной дамой, и Николай Алексеевич подходил к ее привычкам и нуждам, как правильный ключ к специально изготовленному замку. Кольке шагало за тридцать, ему нужно было организованное время, чтобы успеть в работе и счастье. Простой инженерной смекалки ему не хватало на мужской подвиг — приручить Иришку, наконец, обрюхатить ее. Лизетта не спешила быть женой кого бы то ни было, и кажется, у нее появилось некое солнце, которое освещало не наши поля и рощи. Вроде бы это солнце играло в ресторане или пело, а может быть, только дирижировало. Винегрет был женихом одной юной студенточки с востока, которую в нашу компанию не допускал, боясь братских отношений и дружеских грехов. Эта студенточка, заря восточная, занималась последний семестр, потом наступала преддипломная практика. Мне удалось выяснить, что она практикуется столь же легко и мимолетно, как Виктор, но умеет прятать концы в воду и заматывать следы. Что ж, от судьбы не уйдешь, если тачаешь эту судьбу своими руками, ногами, головами и прочими анатомическими частями цельной жизни. София Павловна была со мною откровенна, как с духовным отцом, братом или священником, — она призналась, что выходит замуж за того, кого ей приказали любить родители, за послушание ей дарят дачу не то в Ропше, не то в Чаще, а отдельную квартиру имеет суженый.

— Это не имеет никакого касательства к тебе, миленький, — щенячьим голосом сказала она мне. — Ты — первый

мужчина, который подарил мне счастье. Ты только скажи, я примчусь куда угодно, понимаешь? Никто и знать не будет...

— Ты станешь конспиратором и шпионом или партизаном тыла и транспорта? — спросил мой как бы шутливый голос.

— Как надо, так и встану, — твердо сказала София Павловна.

К вечеру я напился всякой дряни, в основном из розливных вин, доступных праздничной нищете. Город казался мне утепленным и не снежным, а красным, как вина в автопоилках. Мама сказала, что у меня глаза кроличьи, что мне пить нельзя, что у отца была сердечная болезнь от жадности на дешевые вина, что из меня путного старика не получится, что большим достижением в моей судьбе будет похмелье, а не карьера. Я со всеми определениями согласился, но раздеться сам не смог и упал возле кровати. Помню, что мама с соседкой затаскивали мое тело на одеяло, ноги разули, рубашку — рассупонили, не снимая галстука. Помню, что тетка Нюра — соседка наша — притащила мне толстую подушку, чтобы моя голова была выше туловища и кровь к голове не прилиwała. Я вдавился в подушку, и вокруг меня закружились мягкие волны памяти, напоминающие ночь Дня Конституции, и мягкую пластику Иришки, и нехорошие намеки Кочерги, и безразличную похоть Гаврилы, и меня самого, дружелюбного до нейтралитета, но готового облагородить каждого из друзей. Софию Павловну моя болезнь не напоминала — Софа была самой здоровой натурой нашей восьмерки. Это ее сущность укачивала меня и, засыпая, мои губы шептали старым женщинам, что никогда, ни под каким соусом и ни за какие деньги не позволю себе неуважительного слова о добрых бабах.

— Как ты в городе подняла эту деревенщину? — спросила Нюра маму мою.

— Сам поднялся. Я уж думала — со стыда сгорю от его выходок, а видишь, он ничего, просто бабник вырос. Дружки-то его чисто бандиты какие-то...

— Дураки они, жизни еще не знают, — ответила тетка Нюра.

Тут даже моего согласия не требовалось — нас раскусили, нас вычислили, нас поняли и не отвергли. Последняя мысль во мне была длинной и безалкогольной — я подумал, что наши девки или девушки, женщины и вдовы под старость станут такими же пронизательными и сердечными, как наши матери.

3. БЕЗ СВАТОВСТВА И ВДОХНОВЕНЬЯ

Рождественская история

Декабрь набирает скорость к январю: еще неопределенные дни первой декады начинают подгонять друг друга и со второй половины месяца несутся галопом, опережая планы и желания. Так, по крайней мере, было со мною. После Дня Конституции словно пустыня разлеглась по всем улицам и площадям. Люди проходили, как снегопад, от которого укрываешься по подъездам, кинотеатрам или сидишь в своем углу, как на бобах, и зубы на полку. В такое время отрядным бывает только заработок (халтура или получка), но правительство в первой половине месяца дарит нам только аванс, чтобы мы не отвлекались от планового труда, а получку дает почти в Рождество, когда до Нового года считанные дни. И эта самая короткая неделя в году пугает будущей немотой, потому что после торжества уже в будни нового года на кармане ничего не остается, кроме долгов.

Вот с такими невеселыми мыслями гулялось мне по Питеру вечерами в середине декабря, и все бы неплохо, как вдруг промелькнул Владлен Баскаков — шел вроде бы мне навстречу и замельтешил, задержался, завертелся — и пропал. Это меня задело и даже оскорбило. Мы не виделись со Дня Конституции. Не хочешь общаться — не общайся, не подай руки, обзови, плюнь под ноги или скажи, что в гробу меня видел в белых тапочках на босу ногу. А сваливать зачем? Или: сваливать — почему? Последний раз мы были как бы наедине в общественной бане еще до Дня Конституции, я ему тогда и на коленку не плюнул... Сплеывал что-то, волос, что ли, в пасть попал с водою. Хотя он мог посчитать, что плюнул не на колено, а выше — в душу плюнул: пригласил на праздник и пообещал райские кущи с плодами и соками в податливой фауне, а вышло, что был мороз, сияли звезды и петушок ушел домой с чужой курицей. Домой-то его не гнали, вероятно, сам опозорился, но зачем же от меня бегать?

Волнения без причин дарят мне собачий нюх, а запахи возбуждают логические прикидки по невыявленным обстоятельствам. Так и случилось — потянул ноздрями холодный воздух возле Мойки, ноздри залипли, дыhalку светло, но сле-

ды Баскакова стали заметны. Он уходил от Невского, мечтая затеряться в переулках и проходных дворах, доходящих до Театральной площади. Маневр не из пикантных и без стратегической смекалки. Заходя с фланга, топая в заснеженные панели сильнее, чем нужно (чтоб ноги не промерзли), мне удалось выйти к Львиному мостику раньше Владлена. Когда он поднял глаза, почувствовав препятствие в виде человека, он смутился и не стал обходить меня, как столб. Его смущение коснулось меня не рикошетом, а самостоятельной вспышкой — его лицо стрельнуло: лицо Владлена по правой стороне было синим, а под глазом — черным. Естественно, вспомнилось, что София Павловна лягнула его в праздничную ночь, но прошло все же десять дней — синяк должен бы сойти, а тут — свежий! — неужели она повторила удар?

— Ай, ай, Владлен Аркадьевич! Нехорошо это — бежать от приятеля. У меня все же ханский ярлык на кармане. Получается, рыцарь, вы меня предаете в пургу на дороге.

— Это вам кажется, следопыт. Мне в толпе было видно, как вы раскидываете сети свои и ставите капканы на чужой территории, — вы браконьер, батенька, а за это международная полиция по головке не гладит.

— Совершенная правда, товарищ Баскаков, международная полиция по головке бьет, причем — ногами, а гладят по головке умелые ручки наших проказниц, что запретить невозможно, ибо заворачивает.

— Кончай хвастать, — без юмора сказал Владька.

— Ни боже мой! Перечисление обычных уверток не является хвастовством, а только перечнем возможных привилегий в закрытых помещениях и даже в морозные вечера скверов и заснеженных скамеек.

— Намеков не принимаю. Софка наговорила вам десять бочек арестантов. Врет она все.

— Судя по цвету вашей вывески, она не соврала и не промахнулась.

— Промажнулась — куда? — удивился Владлен.

— В лоб тебе. Она сказала, что лягнула тебя, когда ты с тылу забегал.

— Я не забегал. Какой дурак будет забегать с тылу на морозе? Я звал ее в склеп на кладбище — духов смотреть. Она

уперлась — не пойду, и все, у нас, говорит, на лестнице тепло, как в Сочи. Я ее за рукав потянул, мол, пойдем, дуреха, ты такого никогда не видела, будешь всю жизнь благодарна... Тут мужик какой-то возник, кричит: «Пусти девушку! Что ты ей руки выворачиваешь?» Я ее отпустил, а ему — треск по хряпу. Он и не дернулся, но руку мою прихватил и задрал за спину. Меня согнуло, а этот негодяй возьми и колено подставь снизу. Кровищи нашло — лужа! Хорошо, что снег был чистый, — сделал компресс, отдышался, а около меня ни мужика, ни Софы. С разбитым таблом я к вам обедать не пришел.

— Это понятно. Непонятно, почему синяки свежие.

— А что тут понимать? Я в субботу побывал на танцах в клубе милиции. Это местные хулиганы меня уделали.

— Менты?

— Танцоры они были. Откуда мне знать их национальность? На лбу ничего не написано, а хлещутся лихо. Я одному тоже в глаз попал. Может, ослепнет. У него от носа до уха все заплыло, как нарост.

— Пальцы не поломал?

— Я стулом, то есть ножкой стула, который об меня сломался.

— И не повязали?

— За что вязать? Мы мирно перекидывались, как жребий тянули. Мне досталась короткая палка, им — стул. Ущерб возьмет на себя администрация клуба МВД.

— А почему от меня сваливал?

— Если бы тебя расписали, ты что, спешил бы показать, как тебя художники любят?

— Нет, разумеется. У меня дома бодяга есть, а в квартире соседка Нюра, псковитянка. Она только пятнадцать лет в Питере. Еще ведьмует, как в деревне, — за вечер синяки сводит.

— Значит, тебя тоже мусолили? — почти ласково спросил он.

— Не без этого, дорогой товарищ и, может быть, брат. Ты честно скажи, добрался до Софочки или нет?

— Не понял, — сказал Владлен.

— Ну было у вас соитие или разбежались холостыми?

— А как хочешь, так и считай. С моей точки зрения, это была попытка с негодными средствами. В такие объемы вой-

ти можно только с гинекологического кресла, — подоконники для нее не приспособлены, а трубы центрального отопления не позволяют вольных упражнений.

— Дурак ты, братец. Тебе нужно было вручить инициативу в руки девушки, она бы не промахнулась.

— Вручал, стало быть, приняли холодно, — ехидно сказал Владлен. — Она в твоём вкусе — изящна, пластична и потлива. Что ж тебя заставило связаться с тощей дамой?

— Битие определяет сознание, милый друг, это объективная реальность. Софа прибежала ночью с плачем и шумела, как мышка, пи-пи-пи! Колька загудел, его с Кочерги сдули. Кочерга заворчала медведицей. Нужно было Софу спасти, загрызть могли. И спасти праздничную ночь, которая могла оборваться неразберихой. Софью Павловну пристроили поперек Иришкиной койки, инициатива была моя. Свет погасили. Потом я ошупью упал спать и налетел на такое благоухание, что голова закружилась.

— Не темни, Боренька. Засадил?

— Не я, не я, клянусь мавзолеем Ильича! Она приняла меня, как река, как Черное море в бархатный сезон. Она меня выкупала, и выстирала, и спать уложила рядышком с Иришкой. Я бы сам не поверил, что у нас что-то с ней получилось.

— Но поверил?

— Через десять часов — поверил. Софа принесла холодец из дому, чтобы шептать, что только я сделал ее счастливой и она мне никогда не откажет — ни в городе, ни в колхозе, ни в общественном транспорте.

— Тебе понравилось?

— Что?

— Не что, а кто! Она! Понравилась?

— Для этого я недостаточно одинок, мой друг. Множественные вкусовые показатели сбивают с накатанной дороги. Спроси любого шофера, он скажет, что дорогу не помнит, потому что часто ездит. Я привык к Иришке, она мягка, как морская губка, она кончает, покашливая, и царапает мне лопатки, а потом обмывает и молится или что-то шепчет ему — персонально.

— Счастливый ты фраер, Боря. Ползаешь по девкам, и ни одна на тебя зуба не рисует. Может, тебя через сучок рожали?

— Послушайте, Баскаков, хочется в лоб, попроси вежливо, но моих родителей не задевай.

— Я не задеваю, балда. Есть примета: кто с могилы матери через сучок поглядит в ночь на Рождество, тот встанет любимым и сильным.

— Что ты несешь? Какой сучок? Ты уже про стеклянный сучок наплел черт те что...

— Я говорю про деревянный сучок, про настоящий. Идем со мной, Борь, на кладбище! Я уже досочку с сучком приготовил и для тебя сделаю. До Рождества три дня осталось.

— Какое кладбище? Очумел, что ли?

— Серафимовское, там мать похоронена.

— Там и нам с тобой места хватит.

— Очень остроумно, Боря, только я не спешу...

— Врешь, только что звал меня на кладбище.

— Ты слушать не умеешь. На кладбище я пойду в ночь на Рождество. Есть поверье, что в полночь, если смотреть на могилу сквозь сучок, увидишь духов и поймешь, что они хотят. А если хочешь знать свое будущее, нужно в могилу ударить ножом и попросить, чтобы дух покойного открыл тебе судьбу...

— Где ты этой дряни нахватался?

— В коровьей манде, — огрызнулся Баскаков, царапая меня взглядом подбитого глаза.

— Делаю вывод: если пациент ругается нецензурными словами, он грубиян, пошляк и подлец. Если же он человек добропорядочный, то на вопрос друга он отвечает точно и распространенно.

— Не ты ли порядочный человек? — возмутился Баскаков.

— Частично — да, однако разговор не обо мне. Ты что-то таишь...

— Я не скрытный, если хочешь знать — скажу.

— Докладывай по существу.

— Прошлым летом родственники меня сослали к татарам — кумыс пить, нервишки укреплять и прочее. А там у меня выскочила кила, то есть грыжа. Докторов нету. До ЖД двадцать верст. Можно бы на лодке по реке, да грести некому. Тетка повела меня к колдунье. Она мне грыжу заговорила.

— Это как?

— А я знаю? Шептала что-то, а пальцами шупала и мяла.

— Не оторвала?
— Даже не дотронулась.
— Значит, не баба.
— Баба, только старая. Она из деревни ни разу не выезжала.

— Это она тебе про сучки с кладбищем наплела?

— Она не плела. Она сказала, что у меня темное впереди, что она не знает, пройду я эту тьму или скончаюсь. И ворожить отказалась. Сказала, мол, если тебе интересно, возьми доску с сучком, лучше если от гроба, да ступай в ночь на Рождество на кладбище, где кровники захоронены. Сядь на могилку и гляди в сучок, а рот не раскрывай. Души, когда выйдут на поверхность, без слов знают, что ты думаешь. И про нож сказала. Я нож тоже возьму. Если в сучок не увижу, тогда ножом ударю...

— Владлен Аркадьевич, не кажется ли вам, человеку с полувысшим образованием, что вы затеяли такую кашу, которую грамотные люди не едят? Сам подумай, что твой сучок? Дыра. В дыру видно все то, что видно без дыры, только фокусировать легче. Видел ты духов? Нет. Что ж они тебе в темную ночь полезут — выпивать с тобой? Ты им еще блядей приведи, во бардак закрутится!

— Так и ты духов не видел, не так ли? А раз не видел, то и не знаешь, есть ли они или нет. Грыжу мне заговорили — это не выдумка, а реальность. Если старая баба шепотом лечит то, что делают хирурги, может, она и еще что-нибудь знает. По крайней мере, я решил проверить.

— Ты и с Софой хотел проверить. Зачем ты ее на кладбище звал?

— Звал, чтобы трахнуть. Не скажешь девице, мол, идем на кладбище трахаться. Ну и сказал, пойдем в склеп духов смотреть. А ей холодно, видите ли, ей надо в подвал или на чердак. Ей, знаете ли, понимаете ли, надо лицом к лицу, как на передовой. А я смущаюсь, у меня руки немеют... И вообще с толстушками надо встречаться летом, когда свободное тело отделимо от носильных вещей даже ветерочком. Ты скажи Софке, что я с ней весной встречусь, а всю зиму мечтать о ней буду.

— Размечтался. Весной она замуж выходит.

— Замужних не едим, — брезгливо сказал Владлен.

— Какая тебе разница?

— Гигиеническая. Мужик свое имущество раз в год сушит и выколачивает, как бухарский ковер. Зачем же в чужой пыли кувыраться?

— Экий вы озорник, Владлен Аркадьевич. Вы без шуточек даже на девственницу не полезете.

— И с шутками не полезу. Девственница нашего времени — позор отечества! На боже, что мне не гоже! И нечистоплотно. И охов на год вперед, и ахов, если, ну, как это сказать... Если войдешь с треском.

— Информация, однако, у вас правдоподобная. Чувствуется рука опытного извозчика. Где вы учились? Не в зоологическом заведении?

— Я мечтал стать журналистом, поэтому поступил на биофак, где два года изучал размножение микробов. Не изучил, за что был отчислен с предложением перейти на вечернее отделение. Если бы ночное — пошел бы...

— Вам надо было, батенька, поступать в цирковое училище, чтобы знать про влагалище, натянутое на баланс канатоходца в первом отделении районной милиции, когда артистов сгружали из хмелеуборочного воронка.

— Какой тебе цирк? Я замерз, — признался Владлен.

— Как же ты, мерзляк, собираешься на кладбище? Или по радио объявили оттепель в ночь на Рождество? Идем к трамваю, в трамвае — не в бане, конечно, но замерзнуть невозможно.

— Я не замерзну. Я возьму с собой пару бутылок хмелюги, а ноги оберну газетой, говорят, газета спасает от мороза.

— Газета от всего спасает, газета всех спасает, газетам надо верить безоговорочно и всесторонне. Вот когда прочтешь в газете, что НИИ специальных исследований разработало метод подглядывания духов сквозь сучок в доске в ночь на Рождество, тогда бери с собой гроб и дуй на кладбище. Если я про свое темное будущее захочу знать, обязательно присоединюсь. А пока остаюсь законопослушным членом Красного Креста и профсоюза и постоянным читателем газет в уборной, поскольку вкусная и здоровая пища мне знакома только по праздникам, а в будни у меня запоры.

Наш мирный разговор передаю несколько отредактированно, потому что при мужских беседах выделяется излишнее количество междометий и восклицаний, поскольку мужская поло-

вая тема является катализатором даже для асенизаторов (людей вонючих и нейтральных к небесным сферам), а у прославленной интеллигенции возникают бурные реакции буквально на каждое слово или определение, относящееся к прекрасному виду, запаху, вкусу, полу и времени, которое отдано вам-нам прелестницей, лестницей, подвалом или чердаком и которое мы-вы тратим поспешно и необдуманно.

Владлена Аркадьевича Баскакова выступление о газете оскорбило, а упоминание о запорах на равных с членством в общественных организациях привело в бешенство.

— Будь я девкой, на три метра не подпустил бы тебя даже за деньги, — сказал он и без причины вытер ладони о пальто.

— Это ваше дело, продажный. Я денег не плачу, можете оборачиваться Василисой прекрасной, у меня есть знакомый серый волк, он под горой, у него геморрой. Кстати, баба Яга сдает избушку на курьих ножках. Еду посмотреть, если ножки жареные, сниму дачу на все лето.

— Какая дача, мудака? Декабрь еще!

— Это я помню, Владлен Аркадьевич, а про несколько неприличное качество моего характера, извините, позабыл. Не могли бы вы напомнить мне детали? Вроде бы считалось, что в нашем классе был всего один мудозвон, да и тот хуже татарина.

— За оскорбление национальности морду бьют.

— Вижу, вижу. Складывается впечатление, что одним ударом тут не отделались.

— Два удара пропустил — не успел закрыться.

— Кто был вашим врагом, любезный?

— Я фамилию не спросил. Ты тоже фамилию не спрашиваешь, не так ли?

— У женщин — никогда!

— А что, Борис Васильевич, у вас были случки с мужчинами?

— В нашем огороде ни одного козла не держат. Ваш намек — гнусная инсинуация с целью перекинуть грязь со своей рожи на чужую вывеску. Если вы не извинитесь, придется распустить коварные слухи о том, что Баскаков на сборах в течение двух с половиной месяцев посещал солдатскую баню, где на стенах висят лозунги предупреждений: новичок, не нагибайся!

— У нас другой лозунг был. «Уронил мыло — не подымай, рядом армяне».

— Так шутить могут только на севере. Армяне — очень приличные люди, у них один недостаток — знают иностранные языки, а по-русски не фурычат.

— Для них русский — тоже иностранный язык.

— Не опровергай Пушкина, мерзавец. Кто написал про всяк сущий мне язык? Все народы Союза должны балакать на русском, а когда напьются, все равно на каком языке заплетаться. Не зря же им все алфавиты русскими буквами пишут.

— Ты завязывай, Борис Васильевич. Видишь, люди топчутся на остановке. У них уши во все стороны. Услышат — постучат, и отворяй, мамаша, двери, сын на каторгу идет.

— И ты не вопи. Ишь, каторга ему, а сам думает, сигарга или кутарга.

— Что это значит? — спросил Баскаков.

— Стыдно татарину не знать родного языка.

— Я свой родной язык знаю, он до подбородка достает. Заложимся на стакан, что дотянусь даже до кончика носа?

— Доставай хоть до жопы, меня цирковые номера не привлекают.

Про цирковые номера было сказано излишне громко, любопытных на остановке оказалось больше пятидесяти процентов, если судить по количеству носов, повернувшихся в нашу сторону. Странные люди! Стоят, мерзнут, ждут трамвая, а услышат про цирковые номера — и vareжки раскрывают. Вроде бы мы с Баскаковым не напоминали уродов или акробатов, а для воздушных гимнастов на улице не была натянута сетка. И все же мы не стали усложнять обстановку и заговорили о бытовом. От нас сразу отвернулись.

— Вот какая идея, — сказал я Владлену, — мы поедем ко мне домой, пообедаем, чем бог послал, а потом я тебе дам бодяги, чтобы ты к Рождеству привел рожу в парадный вид.

— Так ты со мной поедешь?

К счастью, он не добавил — на кладбище, и в знак благодарности за своевременную конспирацию я кивнул. Баскаков понял иначе, в глазах у него мелькнули слезы.

— Вот это по-дружески, — сказал он, — ты меня уже сто раз выручал, я тебе по гроб обязан буду.

— Не говори глупостей, я для тебя делал только то, что делал для любого знакомого. Или немножко больше, ведь не с каждым хлопцем хочется быть в родстве, правда же? А мы с тобой не три ли раза побратались?

— Первые два не в счет, там было групповое удовольствие.

— Что лишний раз подтверждает истину из научного коммунизма, что все люди — братья, — подчеркнул я.

— Женщины братьями быть не могут, у них нет инструмента братства, у них нет даже причин иметь такой инструмент, — возмущенно проговорил Баскаков.

— Думаю, ты не прав. Ты уткнулся в техническую проблему. Разве конструкция того или иного здания меняет суть идеи проживания в достаточно удобных условиях? И женщины имеют братские чувства к нам, потому что мы им не чужие, но и не полностью родные, а когда родство не закончено в полную меру, появляются притягательные инстинкты, о которых Иван Петрович Павлов написал немало научных статей.

Когда мы выходили из трамвая, вслед нам какой-то грубиян произнес:

— Развелось шпаны, как грязи, а бормочут по-ученому.

Мы с Баскаковым захихикали и почувствовали, что нас связывает нечто большее, чем давнее знакомство или общие женщины.

Внутри себя я уже принял решение поехать с ним на кладбище — и любопытно, и надо подстраховать парня, кто знает, что ночью на кладбище бывает? И привлекала мысль Баскакова о том, что грыжу ему вылечили шептанием, может, еще что-нибудь из наветов колдуньи сработает? На всякий случай я взял с него честное слово, что он ни одной живой душе не скажет о нашем сговоре. И чтобы он не очень заносился, что привлек меня к мероприятию странному и, возможно, опасному. Я его предупредил:

— Владлен Аркадьевич, душа моя, прости мне. На кладбище с тобой поеду, а на Новый год в мою компанию не прикидывай. Во-первых, лишних девок нет. Во-вторых, Софка будет не в своей тарелке... Знаешь, она решила с Винегретом ошиваться до весны. Говорит, у нее никогда не было знакомого с такой волосатой грудью, как у Винегрета. Лизетта обещала привести жениха, вроде бы военно-морского курсанта, которого хочет

охмурить, сославшись на беременность. Ну, Кочергу ты сам не захочешь, она груба и плотоядна. А Иришку, извини, я тебе не дам. Иришку надо подготовить к замужеству. Ты не мог не заметить, что она с Гаврилой — пара. Думаю, что, не ленись, к Первому мая успею продемонстрировать ей все приемы Гаврилы, а также поведаю о его тайных желаниях и привычках. Если дело пойдет к свадьбе, мне придется уехать в командировку, а то хлебнешь горя: крикнешь «Горько!», а потом полезешь к невесте, как к своей шлюхе, — что люди скажут?!

Он не был разочарован и очарован не был — принял судьбу такой, какой она выковалась нашими собственными руками.

На Рождество Владлен заехал за мной, под мышкой у него был сверток — я догадался, что он так запечатал доски с выбитыми сучками. На всякий случай я завернул в газету шесть пирожков с мясом и с капустой, изготовленных в домашней кухне. Мы не обсуждали поступки, которые совершали явно. Неудивительно, что Баскаков из моего дома отправился в гастроном и приобрел две бутылки настоек — полынную и перцовую (на две полынных рубля не хватило). Потом мы потопали по проспекту, привыкая к морозному воздуху. Особенного мороза не было. Мы даже покраснелись от ходьбы и решили идти на кладбище пешком. Заодно решили сперва приглядеться к обстановке, выбрать путь, избегающий свидетелей. И нам все удалось. За пятнадцать минут до полуночи мы тянули из горла перцовой, но не удовлетворились. Полынную из горла пить тошно и горько. Хитрый Баскаков извлек из брючного кармана стакан, и у меня на душе потеплело. Почуввав хмель, мы обули смелость. На кладбище не было ни души. Мы переговаривались обычными голосами и слушали едва заметное эхо. Потом Владлен сел на могилу и стал смотреть в сучок. Я глядел в сучок стоя. Безусловно, что-то было видно. Кажется, даже движение какое-то шевелилось. А может — померещилось. Минут через пять Владлен спросил:

— Ну, видел что?

— То же, что и ты. Я тебя предупреждал, что дыра есть дыра, в нее духи не лезут.

Он не ответил, отложил доску и вынул ополовиненную полынную. Мы дружно допили полынь и запили перцовкой. И тут он выхватил нож и со всего маху вонзил его в заснежен-

ный горбик могилы. И ничего не случилось. Настолько ничего, что даже разговаривать друг с другом казалось безумием.

— Сваливаем отсюда, — сказал Баскаков.

— Пора, — в тон ему произнес мой голос.

Мы ушли с кладбища, как поссорившиеся родственники, между нашими рукавами было не меньше метра пространства. Выпить было нечего. Пирог с капустой так остыл, что жевать было холодно. А с мясом — ничего, жевались. За воротами кладбища оказалось такси. Баскаков смело раскрыл дверцу и залез на заднее сиденье, а я сел к водителю.

— Куда мчимся? — спросил шофер.

— К зоосаду, — буркнул Владлен, — с трех утра будут клетки выдавать бессемейным очередникам, мне обещали с паровым отоплением.

— Смешно, — сказал водитель такси и не улыбнулся.

Больше мы не сказали ни слова.

У зоосада Баскаков выскочил, бросил таксисту червонец, мне пожал руку и пропал в густых тенях пустых аллей.

Это была наша последняя встреча с Владленом Баскаковым. Он после Рождества запил — до белой горячки. Потом полечился на Пряжке. Потом женился на бывшей сокурснице — по выгоде, за пятьсот рублей. А когда узнал, что у нее двое детей, — свихнулся.

Про Владлена мне рассказал Винегрет, который вдруг с ним подружился, правда, Винегрет в дурдом не угодил, зато носил передачи Баскакову. Они породнились вроде бы — Винегрет платил девке алименты за Владлена.

Вот и вся история. Другого конца для Баскакова я и не ждал — как он мог ударить ножом в могилу матери? Понятно, что земля. Понятно, что вреда никакого. Но там — под грунтом — мать! И ножом...

Мое сумасшествие было мягче и незаметнее — я женился на Софии Павловне, избил ее жениха и лишил добрую женщину отдельной квартиры. А от дачи в Ропше мы с женою сами отказались. Спустя десять лет мы научились не вспоминать молодость, не называть отрицательных имен и не пересказывать победы и поражения. Наш сын, ему уже более четырех, даже подозрений не имеет, что его родители сошлись с одной стороны на толстоте и всепрощении, а с другой — на обожании

тепла и удобства, потому что София Павловна согревает своим присутствием самые холодные пенаты, дворцы или пещеры, а уж нашу комнатуху в коммуналке просто держит в режиме летних курортов.

4. СЛУЧАЙ ИЗ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

В день пыльный и теплый поперек Пушкинской улицы шел человек, опустив голову, чтобы пылью не задувало глаза. Метрах в сорока сзади него торопливо хромал мужчина и выкрикивал:

— Борис Васильевич! Борис Васильевич! Постой! Мне тебя не догнать.

Пыльный ветер заглушал крики. Ветер дул на крикуна, поэтому уносил голос от того, которому кричали «Борис Васильевич». И хромой не надрывался — в Ленинграде редко кричат вслед или через дорогу, это считается неприличным, хотя подростки орут — им наши правила и привычки прививаются медленно.

Борис Васильевич, вероятно, был чем-то увлечен или на чём-то сосредоточен, поэтому внимания на шумы вокруг не обращал. Он мог бы попасть под грузовик, катившийся от Кировского проспекта, но водитель машины не был пьян — он притормозил в метре от Бориса Васильевича и коротко надавил на сигнал. Человек по имени Борис Васильевич вдрогнул и отпрянул, а шоферюга без угрозы, но весьма враждебно посоветовал:

— Растопырь очки, корова.

— Я не Коровин, — ответил человек. — А ты, вероятно, Быков?

Водитель уже проехал мимо и прибавил газу, но все равно было слышно, что он послал Бориса Васильевича очень цветистым направлением к месту следования в треугольник икс, игрек и краткое и.

Эта секундная перебранка задержала Бориса Васильевича на мостовой, а хромой преследователь успел сократить расстояние метров на десять, поэтому его голос настиг свою цель. Борис Васильевич обернулся и охнул, но руками не всплеснул и навстречу не побежал, зато улыбнулся вполне приветливо.

— Я уже метров триста догоняю... — сообщил хромой.

— Ты постарел, но узнаваем, — ответил Борис Васильевич. — Армия все же закаляет людей, странно, что и калечит.

— Меня никто не калечил, я в отпуске, просто ногу натер, когда за грибами ездили...

— Вот как, а я-то думал, что тебя комиссовали по инвалидности.

— Еще пять лет, и сам уйду. Как только звонок брякнет, так в запас.

— Тогда здравствуй, служивый. Что это ты за мной охотишься?

— Во-первых, соскучился. Во-вторых, новых сплетен не знаю, а старых — не помню. А в-третьих, у тебя есть возможность поговорить с Валерием Ивановичем Кузнецовым. Он-то уже на гражданке, но стал разговорчивым.

— погоди, Василий, какой это Кузнецов — сын адмирала? Или родственник расстрелянного секретаря обкома?

— Ни тот и ни другой. Это мой однокашник Валерка, который поседел за одну ночь еще курсантом. Ты все рвался с ним поговорить, а Валерка тогда ни с кем и ни о чем не разговаривал. Вспомнил?

— Как я могу вспомнить, если с ним знаком не был? — сказал Борис Васильевич.

— Это дело поправимое. Сегодня у меня собираются наши ребята... Кто в Ленинграде, обязательно придут — у нас юбилей, двадцать лет в войсках.

— Я в войсках не бывал, но юбилей и мне знаком — в этом году десять лет моего соломенного вдовства.

— Это как? Жена померла?

— Ну что ты, Васенька, она нас с тобой переживет, только делать это она будет не по соседству, а в счастливом месте, где свила новое гнездо и высидела цыплят.

— Шутишь! — выдохнул Василий.

— Кто ж такими вещами шутит? Ты о своей жене так шутишь?

— У меня нет жены, обхожусь чужими.

— За такое признание сто пятьдесят лет назад я бы тебя вызвал на дуэль и вышиб тебе глаз из рогатки. А современный и

немолодой уже человек из непризнанной интеллигенции желает знать одну простую вещь — на твоём юбилее женщины будут?

— Извини, Боря, нет. Женщин не будет. Одни мужики, человек шесть, семь. Точно не знаю. Мы дружили по отделениям, в нашем была дюжина — те, кто служит здесь, придут.

— А что собирается делать неполная сборная районной команды бабников за твоим столом?

— Вот из-за этого я тебя и догонял. Об этом и говорю. Мы выпьем, конечно, но умеренно. А потом Валерка обещал спиритический сеанс устроить. Я подумал, что для тебя это просто находка — познакомишься, поговоришь, девочкам позволишь. Мне кажется, что у тебя все еще пара дюжин амазонок на крючке, не так ли, Борис Васильевич?

— Отнюдь, отнюдь, Василий Николаевич. Со мной случился пушкинский грех. То есть Пушкиным изображенный грех. Меня теперь можно звать царем, только без имени, а то ведь на Годунова подумают, а я от Никиты.

— Никита, говорили, недавно помер.

— Какой Никита?

— Хрущев, какой еще.

— Ну, Василий, ты даешь! Неужели ты думаешь, что Пушкин про Хрущева писал?

— Что — писал?

— Царь Никита жил когда-то праздно, весело, богато... и от разных матерей прижил сорок дочерей.

— Даже не слышал никогда.

— Это слышать не обязательно. Главное — слышать шум родины...

— Не надо, Боря, про родину, и про меня не надо. Ты видишь внешнюю часть — офицера. А мы еще люди, просто нормальные люди...

— Которые выполняют ненормальные приказы, гуляют в танках по Праге, давят население, наводят большевистский порядок в чужой земле.

— Меня в Праге не было.

— Тебя было в армии, этого достаточно. Интересно, в Уставе армии есть параграф о выполнении глупых, подлых или злонамеренных приказов?

— В Уставе то, что положено делать солдату и офицеру для правительства. Смени власть, напиши новый Устав, и армия будет его выполнять, понял, нет?!

— Хорошо, Василий, не заводись, и на «понял» меня не прихватывай. Мне без тебя тошно. Думаешь, штатским легче переносить политическую грязь и кровь? А где правда — не знаю. Задавили чехов, это точно, но может быть, так надо — задавить? Может, отпади они от Союза, так все республики отсыпятся. Оттуда кричат — свобода, свобода! А какая она — свобода? Кому она свобода? Тут мне ясно, что Романов — сука, жирует на народных харчах, так и Козлов жировал. У кормушки все рожи масляные. Посади меня туда, тоже загребать начну, как думаешь?

— Думаю, если ты дерьмо, то начнешь. Но не сто же процентов хапуг живут в Союзе? Кто-то же о других думает, правда?

— Откуда я знаю? Мне ни одного мыслителя не подавали, разве посмертно.

— С тобой разговаривать невозможно, ты всегда сворачиваешь на битое стекло, а у меня ноги босы. Давай о бабах поговорим — вечером. Ты помнишь, где я проживаю?

— В кинотеатре «Арс» — с тылу, на третьем этаже.

— В доме Ильича, запомни это. Маме Ильича принадлежали несколько доходных домов, этот — один из них.

— Кто тебе сказал?

— Внук Глеба Успенского. У писателя тоже была парочка доходных, как и положено нищему писателю при царизме. Внук его мечтает, что наступит время и дедовское имущество придет к нему. Он ждет, когда назначат царя.

— Ему что — генерального секретаря мало? Хорошо ему мечтать. А мне? Тут опять загадка: хочу я, чтобы дедовское имущество пришло наследникам? Они-то разбогатеют, а мне сиди в коммуналке, разводи нищету или поступай в партию — воровать.

— По-твоему, в партии только воры?

— А как же!

— Я в партии, а не ворую. Не надо всех подряд оскорблять.

— Вор — не оскорбление, а метод добычи нужных вещей. Ты не воруеть, потому что на всем готовом или воровать нечего.

А если тебя начальником стройбата поставят, неужели дачу не сколотишь? А досочек или кирпичиков мне подбросишь — по дружбе? А солдатиков на уборку своих угодий выделишь? Не надо, Вася, быть хорошистом, хотя что я знаю, может, как раз хорошистом-то и надо быть, и рвать надо ягоду с куста — ведь кусты для того и посажены...

— Ну повело, даже ногу отпустило — не саднит. Так я пойду до дому, ты часам к семи-восьми приходи. Бывай, плохиш с человеческим лицом.

— Бывай, урод прихорошенный, — ответил Борис Васильевич и, повернув голову к ветру, насупился и зашагал в сторону кинотеатра «Великан».

По походке определить движение мыслей человека немислимо, но кое о чем догадаться можно. Борис Васильевич шел довольно легко, а корпус держал как бы под грузом — горбился, так идет человек, если хочет обратить на себя внимание. Эта сгорбленность, этот наклон головы — к груди с взглядом под ноги — обращены к женщинам среднего возраста, дескать поглядите на меня, я еще хорош, еще силен, на меня навалилось столько пакостей, что хочется ничего не видеть. Язык тела обычно более правдив, чем язык разговоров, и женщины отлично читают эти иероглифы, если они еще не зачерствели. Черствых женщин не проймешь намеками ни движений, ни слов — черствые женщины любят деньги, поэтому жадны. Борис Васильевич знал про черствость больше, чем надо, он определял черствость возрастом и не ошибался. Он шел в кинотеатр «Великан», чтобы потолкаться в толпе, поглазеть по сторонам и может быть завязать шуточный разговор с какой-нибудь незнакомкой, которая тоже навещает места случайных, но приличных встреч. У кинотеатров и в зоосаде надо быть добрым человеком. А жадные и разгульные спешат в рестораны.

Приблизительно так думал Борис Васильевич, уже пройдя Сытным рынком и одолев трамвайные колеи, то есть миновав препятствия на пути случайного знакомства. И тут его смутила мысль, что знакомства на сегодня не нужно — не тащить же первую попавшуюся девку в гости к старым друзьям, тем более что там женщин не будет. Он распрямил спину и поднял голову. Привычные очертания кинотеатра почему-то показались чужими, чем-то они напоминали мечеть, чем-то — Казанский

собор, и толпа возле кинотеатра как бы отделилась от привычной толпы — утратила некое родство горожанина к толпе прохожих, стали заметны лица упрямые и ядовитые, улыбки показывали оскал, а локти — толкались. Возможно, все это был вымысел или придиричивое всматривание по сторонам, но нельзя исключать и внезапного просыпания, случайного внимания к четким чертам и поступками соседей.

Он несколько растерялся от пробуждения — иллюзия связанности граждан, земляков, товарищей по каждому дню жизни вдруг пропала. Толпа превратилась в единицы желаний, в отдельные реакции на звук, запах и цвет. Потом Борис Васильевич почувствовал себя как бы не на проезжей части и не на панели, и кинотеатр как бы утратил жесткость очертаний, а он стал вспоминать комнату Васьки Козловского, в которую любил приходить в юные годы. У Васьки была своя комната, он проживал с родителями в трехкомнатной отдельной квартире, которую отец получил, защитив докторскую диссертацию на какую-то моральную тему, связанную с чумой или сибирской язвой. Самым приятным в комнате была низкая тахта, на которой помещалось сразу три человека в полулежачем положении, а сидя по-турецки могли уместиться четыре или более лиц. Карта мира закрывала одну стену в комнате, а стол даже места не занимал — это был картонный старинный стол, столешница которого складывалась в три пласта, ножки сдвигались, и вместо просторного овального стола оставался предмет вроде подставки под цветочную вазу. Единственным недостатком комнаты был запрет приводить шлюх, невест и подруг. Родители Василия Николаевича не верили непорочным чувствам сына.

Когда Бориса Васильевича несколько грубо толкнули в бок, он не взъелся и даже не обиделся, а посмотрел на часы — было около трех часов дня. До визита в Василию можно было посидеть в тени кинозала и подумать. Он так бы и поступил, если бы новое волнение не повлекло внимание совсем в другую сторону.

От касс кинотеатра прямо на него двигалась София Павловна. Она была прекрасно одета, выглядела строго и привлекательно и, кажется, похудела в талии. Бориса Васильевича внешний вид не удивил, зато направление шага Софии Павловны и решительность плотно сжатых губ ее напугали. «Что я ей

сделал? Что ей от меня надо? — в панике подумал он. — Может, не получила алиментов. Может, ей что-нибудь наговорили...»

— Здравствуй, Боря! — приветливо сказала София Павловна. — Ты так задумчив, что не видишь и не чувствуешь даже родную жену. Я тебя в спину толкнула... А когда ты и этого не заметил, я решила купить два билета на следующий сеанс. Ты же любишь в темноте девок щупать, а я их не хуже, правда же, Боря?

— Правда от лжи не отличается ни весом, ни размером — только угол зрения определяет то или иное качество...

— Эту философию я уже слышала. Раньше это было забавно, теперь — скучно. Идем в кино, я тебя заставлю поерзать на стуле.

— Мне кажется, неприлично при людях ерзать. И заметить могут, и раскритикуются.

— А бывало, ты был в восторге, если мы умудрялись это делать на людях, которые ничего не замечали.

— Бывало, наши солдаты верблюдиц охаживали с подставной лесенки, а теперь друг друга балуют.

— Не ври, пожалуйста, верблюды с людьми не живут. Я слышала только про ослов. Все равно трудно представить, как это делается.

— Приблизительно так же, как если бы девка раком встала, — грубо сказал Борис Васильевич. — Тебе ли рассказывать? Не ты ли упражнялась именно в этом виде спорта?

— Разве это упражнения? Это горькая необходимость, когда сивухой так несёт от приятеля, что лучше отвернуться и зарыть голову в песок, как страус.

— Скажите, София Павловна, к вам что, девственность вернулась?

— Зачем мне это надо? У меня и так удовольствий кот наплакал, так еще закупориться по горло?! Интересно, ты себе отказываешь или, как всегда, издеваешься над другими, а себя радуешь?

Борис Васильевич оторопел от атаки бывшей супруги и решил спросить ее про наследника, про новую семью, про светлое будущее в запланированном варианте, и не успел.

— Ты мне не рад, Боря? — спросила она.

— Если честно, то напуган.

— И зря. Я когда тебя увидела, прямо зашлась, веришь, как двадцать лет назад, — сердчишко заколотилось, ладошки вспотели, хоть ложись одетой на газон и кричи: «Боренька, иди! Не бойся, иди! Я тебя укачаю, как дитеньку...»

Вероятно, от звуков голоса и от искры памяти темные и плотные чувства как бы разрыхлились в нем — Софья Павловна вновь казалась открытой, доступной и желанной и такой, от которой не нужно неожиданности, напротив, ожидаемое сладостно тяготит, и сопротивляться этому глупо.

— Софочка, София Павловна, — пропел он, — София Павловна, где вы теперь? Рад полжизни я отдать, чтобы Софу увидеть, Софочка, любовь моя.

Он подхватил ее за талию и чмокнул в щеку.

— Пойдем в фойе, уже пускают, может, найдем уголок... Я уже трусишки спрятала в сумочку. Хи-хи! Как тебя увидела, дернула и спрятала. Теперь ты от меня не отвертишься.

— У меня лучше идея.

— Опять идея, — вздохнула она.

— Тебе понравится, — уверенно сказал он. — Пойдем со мной в гости к Ваське-мудрецу. Он подполковник уже и холост. К нему еще человек пять придет — юбилей у них, двадцать лет службы, а баб не будет. Перед тобой одной они будут ползать на коленях...

— Зачем тебе это надо? Или ты всей банде хочешь доказать, что я блядь?

— Ничего себе логика! И все же запомни, блядь не специальность, а характер — это не требует доказательств. Тебя никто и никогда блядью не называл, правильно? Стервой — было дело, но сегодня никакой стервозности не заказывали. А украсить мужскую компанию — знак достоинства, а не распутства, не правда ли, Софья Павловна?

— Наверно, ты прав, но будет так, как я сказала: или ты имеешь меня в кинозале, или идешь к своим онанистам один.

— Во как приспичило, — вздохнул Борис Васильевич, ясно осознавая, что страсть начинает кружить ему голову, что походка его вдруг стала тяжела, и он вцепился в бок Софьи Павловны, наваливаясь плечом.

Она мгновенно восприняла его сдачу в плен, улыбнулась знакомой восхищенной улыбкой и повела его внутрь кинотеатра.

В фойе было не людно, но слишком светло. Если при ярком свете люди увидят сорокалетнюю бабу на коленях сорокалетнего мужика — будет скандал. Они оба это поняли, но страсть уже верховодила их движениями. Они прижались друг к другу стоя, и София Павловна с невидимой зрителям стороны запустила ручку под плащ Бориса Васильевича. Он обомлел и не дергался. Однако София Павловна справилась с наплывом страсти и отстранилась, чтобы под руку пройти в зал. Они поднялись на балкон. София Павловна усадила свою любовь на первый ряд, растормошила его одежду, шепча:

— Капусту раскрой, ишь, запрятался...

Она успела его поцеловать, пока свет не погас, а потом в сумерках закинула подол на спину и точно села Борису Васильевичу на колени.

После кино они обедали в столовой на Большом проспекте, им было легко и радостно, словно время вернулось на десять лет назад. Они шутили над собой, уверяли друг друга, что нормальные люди так не живут, что узнай такое, сослуживцы закатали бы общее собрание и бичевали бы аморальные стороны быта своих сотоварищей. Потом они решили купить подарок юбилярам и в магазине спорттоваров нашли кубок на мраморной подставке, а по мрамору химическим карандашом София Павловна написала:

Каждому юбиляру
каждый день
хочется счастья.

На каждую из трех сторон белого мрамора попало по два слова. Почерк у Софии Павловны был девичий — круглый и плотный, поэтому надпись читалась шуткой и намеком, и должна была выглядеть серьезной и понравиться офицерам.

В семь часов вечера они позвонили в дверь Василия Николаевича Козловского. Им отворил дверь сам Василий — в белом передничке, в белой сорочке без галстука, — весь вид его говорил, что он кулинарит. Василий улыбался несколько истерично, вероятно, не мог связать визит пары штатских лиц с офицерским юбилеем, тем более что ждал он одного Бориса Васильевича Сорокина. О женщинах он упомянул, когда догнал Сорокина на Пушкарской, для красного словца. А планировался на

этот вечер спиритический сеанс — как доказательство существования сил и способов взаимосвязи между людьми, которые властями считаются запретными или шарлатанскими.

— Вы уже приготовили салат? — спросила Софья Павловна.

— Почти что, осталось добавить горошек...

— Разрешите мне этим заняться. Женщины лучше делают салаты. А мужчины лучше жарят рыбу. Надеюсь, рыбы не будет?

— Васька обожает раков, — сказал Борис Васильевич.

— Я тоже, — не улыбнувшись, сообщила Софья Павловна.

— Иди в комнату, — сказал Василий Борису.

— Ну как в командировку эвакуируют, — усмехнулся Сорокин. — Лучше бы на Кавказ сослали — на воды и цыпят табака.

— Там выпить есть, — ответил Василий, — не скучай.

Сорокин зашел в комнату и был приятно удивлен тем, что тахта не сбежала из квартиры, что карта мира все еще заполняла стену против окна. Другая мебель внимания не просила — не смогла выпросить.

В комнате у раскрытого овалом стола сидел штатский лысоватый мужик. Сидел свободно — без напряжения, без шевелений и ерзаний, и поэтому как бы и не сидел совсем — как бы отсутствовал. Взгляд Бориса Васильевича зацепился, вернее, сцепился со встречным взглядом, полным любопытства и, может быть, озорства.

— Прошу прощения, — сказал Сорокин, — я не знал, что в комнате кто-то есть, и вместо здравств полез глазеть карту.

— Полно вам, не извиняйтесь. Вы меня не стеснили и не напугали, мне даже догадываться не нужно о вас — мы заочно знакомы. Теперь будем знакомы реально. Кузнецов.

Человек вытянул руку к Борису Васильевичу, не вставая, поэтому, принимая рукопожатие, Сорокин как бы поклонился, а заметив, что согнул спину и пригнул голову, резко выпрямился.

— Не переживайте, — улыбнулся Кузнецов. — Вы прекрасно ранимы, но пользы от этого никакой. Разрешите поклониться вам за это.

И Кузнецов легко встал со стула и поясно поклонился Сорокину.

— За что — за это? За мою бесполезность или мою ранимость?

— Мы равно бесполезны, Борис, это дает право не церемониться друг с другом, обращаясь по имени и на ты, однако можно растягивать паузы при помощи имени с отчеством и говорить «вы», когда ирония щекочет язык.

— Лучше бы выпить для этого — естественней получится.

— Можно и выпить, только я пью воду и молоко, а на улице — газировку. Духи не любят пьяниц, не любят примесей в чувствах и животной похоти в любви. Вы же помните, что меня Василий позвал провести спиритический сеанс, не так ли?

— Конечно, помню, только мне уж очень все внезапно...

— Но ты не чувствуешь неудобства? Или принуждения?

— Не чувствую, но и распах во всю грудь тоже не чувствую. Мне сеанса не проводить, значит, можно хлебнуть чуток.

— Вам не идет прикидываться ярыгой кабацким, — без воодушевления сказал Кузнецов, и Сорокину расхотелось выпивать в одиночку.

Смутиться он не успел — Кузнецов как бы перескочил на иную волну и сделался лукавым и игривым.

— Скажите, чем я вас заинтересовал в те забытые годы? Василий мне уши прожужжал, что Борька Сорокин хочет поговорить со мной, что его интересует что-то такое, что не интересует остальных знакомых. В те годы меня пугало любое знакомство, и причины были серьезные. Теперь я бесстрашен, но никаких тайн я не знаю, а явное ведь мало кого интересует, не так ли?

— Васька тебе говорил, что я люблю заканчивать предложение провокационным вопросом — не так ли? Не надо меня дразнить.

— Именно, так. Но я не дразнюсь — я пытаюсь нарисовать портрет человека, который ехидно и старомодно издевается над знакомыми. Ведь это издевательство, Боря, не так ли? Невозможности нет вопрошать, и манера современного разговора не требует подхлеста.

— Ты извини меня, но я все же выпью.

— Полный вперед, — сказал Кузнецов и указал четырьмя пальцами на бутылки, как бы одиноко торчащие на пустом столе.

Бутылок было мало — три, но все разных дисциплин, что ли: водка, коньяк и настойка. Сорокин выбрал настойку, потому что она была опечатана тонкой жостью (коньяк был под сургучом, а водка — с витновой головой), он сорвал белую крышечку, сделал несколько глотков из горлышка, а потом насадил пробку на старое место.

— Выглядит заправски, — сказал Кузнецов. — А вкус тоже лихой?

— Вкус обычный, нормальный. На всю операцию потрачено секунд десять, как от смерти, и обжалованию не подлежит.

— Поболтаем? — спросил Кузнецов.

— Я готов. Если еще схвачу, то будет не заткнуться. О чем, хлопчик, гутарить будем?

— Да все о том же, — сухо сказал Кузнецов. — Ты спрашивай, я — отвечу, если смогу.

— Ты действительно увлекался этой чепухой?

— Какой именно?

— Ну спиритическими сеансами и прочей чертовщиной. Васька говорил, что ты поседел за одну ночь. Это правда? Седины что-то не вижу, одна лысина.

— Не завидуй, сам скоро полысеешь. Но лысым причесываться легче, учти это. А в юности действительно поседел за ночь — сам себя испугался.

— Точнее или подробнее можно?

— Точнее — долго будет. Поверь простому объяснению. Ты слышал про астральное тело?

— Да.

— Тогда мне легче. Я вышел из себя — выделился астральным телом, а потом увидел себя сверху. Дело в том, что я где-то вверху был живым, мыслящим и подвижным, а внизу лежал мой труп — мое ничто или оболочка, или еще что-то такое, что особого значения не имеет, зато очень высоко ценится нами, людьми. Там было много чувств, много ужасов, много неведомого...

— Там — это где? — спросил Сорокин.

— Это вокруг живого меня — вокруг все было живым, непонятным и угрожающим. Так казалось. Мне стало жутко, что я уже помер, что мама утром будет с ума сходить по покойнику, а я буду торчать где-то, над чем-то, но уже ничего не смогу сделать ни для матери, ни для себя, ни для друзей. А подышать

не хотелось — ни на секунду! Вероятно, я обогнал все страхи и, обессилив, уснул. А утром проснулся седым.

— А дальше что?

— А ничего. Дал себе слово, что опыты по узнаванию своего поля прекращаю, телепатию послал к чертовой матери... Учебных материалов почти никаких — мы по слухам учились да сами у себя... Решил, что сделаюсь первоклассным офицером и докажу кому угодно, что человеческое сознание может справиться с любой поставленной задачей без магии. Видишь, офицером первоклассным не стал, а слово — держу.

— Тебе магия и телепатия знакомы?

— Они всем знакомы, но многие даже не знают их имени. Скажи, Боря, ты пацаном не играл в гляделки? Уставишься в трамвае или на рынке на сумочку какой-нибудь женщины, старушки или девчонки, да все равно кого... Мужики в драку лезут, а это отвлекает. Минуту понапрягаешься, и твой объект начинает нервничать, потому что ты ему посылаешь предупреждение, мол, сейчас я твою сумку уволоку — сорву, сдерну или срежу.

— Такое было — из озорства. Мы торчали где-нибудь на перекрестке, задрав головы, а к нам подходили прохожие, шептались и тоже головы задирали. Однажды было хуже. Залез в трамвай, устроился на площадке — ближе к двери, осмотрелся и заскучал. Потом руку в свой карман запустил, а там семечки. Вытянул парочку — крупные подсолнухи, как с рынка, не для птичек. И опять полез в карман, опять семян взял и грызу, а сам думаю, откуда в кармане семечки? Я не покупал. Дома никто мне подсыпать не мог. И опять грызу, и опять. Остановку проехали. Замечаю, что рядом стоит мужик, как деревянный. Глаза от страха тупые, и явно на меня не смотрит, а его тянет смотреть на меня. Подумал, что идиот. Тут двери открылись и я выпрыгнул из трамвая на площадь Труда. Перебежал мостовую, отдышался и полез за семечками, а в кармане — пусто! Догадался, что в чужой карман лазал, а на мужика обозлился — что ж он не остановил меня, не отошел, наконец?

— И ты больше не разрешал себе семечки доставать?

— Никогда! Мне даже сейчас стыдно, что мужик так перепугался. Какой же был у меня вид, если нормальному человеку страшно?

— Во-во, — удовлетворенно кивнул Кузнецов. — У меня было похожее чувство, но к себе: каким должен быть идиот, чтобы испугаться своего тела? Может быть, правильно испугался. Наши энергии бывают опасны. Сделаешь что не так — и сам себя искалечишь.

— При чем тут энергии? Телепаты мыслями общаются, а мысли энергии не имеют.

— Мысли — нет, а люди — да. Люди направляют энергию для передачи мысли. Ты Волкова знал — из нашей роты? Василий с ним долго дружил.

— Слышал о нем.

— С Волкова все это началось. Однажды он мне дал книжечку про всякие чудеса. Там весы показывали тяжесть, а веса не было — только взгляд спиритуалиста. Ложки чайные летали, мебель двигалась, а столовые ложки для опытов не брали — тяжелы. Курьёз, конечно, но заставляет задуматься. В двадцать лет мы обо всем задумываемся, но не думаем, — таково умение молодости. Однажды сидел я в библиотеке, читал академическое издание «Золотого осли», а мне вроде бы шепот над ухом: «Что сидишь? Волков ждет, Витька Волков. Разве забыл, что ты должен к нему зайти?» Я дальше читаю, а сам думаю, зачем заходить к Витьке, мы не сговаривались. В училище увидимся. А читать уже не хочется. Умозрительно я как бы с Витькой разговариваю, внимание от книги ушло. И день тот показался мне из составных частей, которые отслаивались друг от друга, делая меня пустым и беспокойным. Книгу я сдал в читальне, и прямым ходом отправился к Волкову. Руку до звонка не успел протянуть, как дверь раскрылась, и стоит Витька весь в улыбке и говорит мне: «Ну знаешь, брат, тебя кричать — нужно нервы иметь в канат толщиной. Я тебя к себе зову почти час, а ты уперся и не идешь. Потом сдвинулся. Минут десять назад я тебя почувствовал плотно, даже стал дышать, как ты. Задышался, когда ты поднимался по лестнице. И видишь, дверь отворил раньше, чем ты позвонил». Потом он мне рассказал, как наводят свою энергию к другому человеку. Я стал учиться, сперва на близких, которых хорошо знал. Потом на любых знакомых. Потом Волков о медиумах рассказывал, об астральном теле, о том, что мы можем видеть астральные тела, можем выходить из своей физической оболочки.

— Неужели это все не чепуха?

— Кто как смотрит, — ответил Кузнецов. — В настоящее время астральное тело называют личным полем человека. Понятие поля принимается легче — колдовством не пахнет, тем более что с шестого класса физика про магнитные поля очень широко оповещает. И железные опилки на бумаге двигают магнитом, а получают точный след поля, значит верить можно, не так ли, Борис Васильевич?

— Про поля не знаю — не колхозник, а про ауру сам читал, правда не понял ничего.

— И слава богу, что не понял. Есть она — и ладно. Вот если нет ауры — плохо дело, считай, что защитная система выдыхается.

— Скажи, а душа и аура не одно и то же?

— Ни в коей мере. Душа скорее всего и есть астральное тело, которое вполне вещественно. Мясо наше, кости и кожа, — как емкость, где идет энергетический процесс, как в аккумуляторе. Электричество — душа аккумулятора, красиво?

— По крайней мере, понятно, что имеется в виду.

— Не согласен. Для понимания таких тонкостей нужно специальное обучение и не менее специальное желание обучаться. И при сильном контроле со стороны учителей, иначе знание превратится в колдовство, а человек — в злодея.

— Ну, батенька, ты меня в пот вогнал. Пойду выпрашивать харчей, а то ноги не держат, — сказал Сорокин.

— Правда, что-то долго не слышно запаха пищи, — согласился Кузнецов, но прибавил: — Если можно, Боря, пожалуйста, говори нормальным языком. Ты же человек интеллигентный, университет закончил, так, да?

— Эй! Заткнись! Мне надоели упреки образованием! — вспыхнул Сорокин и выскочил за дверь.

В кухне он увидел идеальную сцену первой влюбленности — София Павловна висела на Ваське Козловском, который не сопротивлялся, но руки, измазанные майонезом, держал отдельно от тел.

— Все стало вокруг голубым и зеленым, — спел Борис Васильевич.

Они распались, но не струсил и не извинился, встав плечо к плечу, как в строю. Сорокин окинул их беспощадным взором и паскудно усмехнулся — у Васьки Козловского гульфик не был заколочен.

— Господа! — торжественно заговорил Сорокин. — У меня к вам только одна просьба — не морить нас голодом. И ещё один совет женщине — носить две сумочки: одну для носовых платков и губной помады, другую для трусов, спущенных в дни поражения, как боевые флаги.

— Очень остроумно, — сказала София Павловна. — Теперь буду современной и стану обходиться вообще без мелочей на себе.

Василий Николаевич несколько пылал щеками и улыбался без звука.

— Где твои гости? — спросил Сорокин. — Когда у тебя сбор?

— Придут, не беспокойся, — ответил веселый Козловский. — Сеанс у нас начнется в полночь, Валера сказал, что раньше начинать бесполезно. Мы успеем и выпить, и закусить. Ты пока поговори с Валеркой...

— Мы уже наговорились, корми нас, а то всё выпьем и свалим...

— Не пугай, — грозно сказала София Павловна. — У нас есть заначка.

— Накрывай на стол, Боря. Я испачкан, видишь. Возьми из буфета посуду и сервировку, расставь, бокалы возьми, лимонад вытащи из льда в ванной. Работай, товарищ! Ты ж сюда не жрать пришел, правда же?

— Же — у тебя на лбу написано, — огрызнулся Сорокин, но стал доставать посуду, стаскивать ее в комнату, потом принес лимонад в запотевших бутылках, что обрадовало Валерия Кузнецова, который от улыбки и от жажды выглядел омолодившимся.

На стол накрывали долго и уселись не торопясь.

Гости пришли около девяти, они принесли две темные бутылки «гамзы» — как бомбы в пластиковой оплётке.

Кузнецов знал гостей и приветливо кивал им, а Сорокин о таких друзьях Василия даже не слышал. Один был нацмен — усат, черен и шумен, его глаза сверкали белками и катались в глазницах, как заведенные, а руки распахивались, вздымались и опадали, как самостоятельные живые организации. Брюнет был толст, а имя как бы к нему не относилось — Алекс, от Але-

ко или от Александра, а может, от самого вещего Олега. Другой был бесцветен, словно разведен водою, как акварель, а говорил с легким акцентом. Сорокин подумал, что это литовец, которому дали имя Ян. Оказалось, он с Карпат, а родители из Румынии. Все иные поступки и слова Яна были такими же реалистическими, как у алкашей в толкучке при гастрономах.

Как только гости осушили по стопке водки, Василий поднялся и убежал в кухню — за горячим. Это был просто подвиг — холостяку сварганить горячее для друзей. И когда Василий внес латку с целой ногой барана или овцы, утопшей в гречневой каше, вся компания поняла, что это геройство, вроде жертвы собою ради счастья и сытости других. Мужчины привстали и захлопали в ладоши, а София Павловна искренне выкрикнула:

— Зацеловать Василия Николаевича!

Выкрик одобрили, но целовать хозяина не стали.

Время, начиненное горячей пищей, полетело скорее, хотя общение как бы разбилось на пары, вероятно, под парами душа ищет откровений только у одного сочувствующего. Странно, однако все внимание покатилося на Валерия Ивановича Кузнецова — его жадно слушали, ждали в очереди, когда можно будет задать ему вопрос, и радовались ответам.

Сорокин заметил, что центром сделался Кузнецов, и решил, что так было задумано, — он, Кузнецов, будет проводить сеанс, он и должен подготовить любопытных к этому чуду. София Павловна тоже заметила, что интерес к ней — к единственной и прекрасной женщине — растаял. К ней не обращали взглядов, ее ни о чем не спрашивали и никто не пытался с нею заигрывать или домогаться ее. Возмущенная до глубины души, София Павловна очень громко сказала бывшему мужу:

— Боря, я устала. Проводи меня домой.

— Софочка, мы же духов будем вызывать, — попытался остановить ее Борис Васильевич.

— Хоть скелетов, — резко сказала она. — Вставай. Ты же не прикажешь мне одной шляться по ночному городу? В конце концов, желания женщины — закон, не так ли?

Кузнецов всхлипнул от смеха — он оценил чувство юмора толстушки. Василий отвел глаза от взбешенных бывших супругов. А Ян и Алекс чокнулись рюмками и дружно выпили.

— Вот из-за таких выходов и разводятся нормальные люди, — объяснил Борис Сорокин всей компании.

Его не оспаривали и — не задерживали. Валерий Кузнецов сказал Сорокину, мол, не переживай, соберемся в другой раз без женщин, и Сорокин благодарно пожал ему руку.

На улице Борис Васильевич взял жену под руку, она сразу смягчилась и отяжелела. Чтобы не подпасть под требование немедленной любви, он застыдил Софию Павловну:

— Как тебе не стыдно, Софка? Просто позор! Ты знала, что мы собираемся для спиритического сеанса, и уволокла меня оттуда.

— Ты мне сказал, что все будут на коленях передо мной ползать, а ни один пальцем до меня не дотронулся. Ты — обманщик.

— Разве Васька тебя не тронул?

— Васька?! Если его не телешить, он с места не сдвинется. Мне, говорит, стыдно перед Борисом. Просто дурак какой-то! Стыдно должно быть, если не уважаешь женщину.

— Это уже не мое дело, я его тебе не подкладывал.

— Я и не просила... Скажи, Боря, ты очень сердишься на меня?

— Не очень.

— Тогда сделай милость, завези меня домой. Не хочу сегодня спать одна, мне страшно и одиноко.

— А твой благоверный где? Или ты хочешь стравить нас, как псов, а сама вернешься к Василию завершать спиритический сеанс?

— Идея неплохая, но ложная. Я овдовела, Боря, — взяла и сказала, что надоед он мне хуже горькой редьки, лучше школьникам давать в парадных, чем с ним тесниться в кровати. Ой, как он взвился! Блядь, кричал, шлюха, тебе нужно тренером в футбольной команде работать! А я подумала, что такое еще невозможно, чтобы женщина тренировала мужчин командами, а хорошо бы...

Борис Васильевич тихо смеялся, но, опасаясь, спросил:

— У тебя нет идеи снова женить меня на себе?

— Нет, Боря. Мы останемся добрыми друзьями до старости. Я с тебя даже алименты не беру — просто не могу обирать

друга. А с паровоза брать буду — за двоих детей: за его и за твоего, годится?

Борис Васильевич Сорокин кивнул утвердительно, все же он сам воспитывал Софию Павловну, учил ее любви и дружбе (на свою голову) и теперь был доволен своим трудом.

Ночью, когда София Павловна, раскалившись и вспотев, уснула, Борис Васильевич Сорокин выкрался из ее квартиры, поймал такси и понесся к Василию Козловскому, надеясь успеть на спиритический сеанс. Но не успел. Сеанса просто не состоялось, хотя на белой бумаге, постеленной на столе, были какие-то знаки или письма, на блюде был нарисован глаз — фломастером, а на подоконнике под форточкой горела свеча. Ребята были пьянехоньки. Даже Кузнецов, который так твердо грозился не пить, спал на стуле, зажав пустую коньячную бутылку. Василий не спал, но бодрствующим его назвать было трудно. Он все же сказал, что они хором вызывали духа. Кавказец молил духа во всю глотку ради Христа явиться к ним и выпить вместе. Дух обиделся и задул свечу. Тогда Валера Кузнецов сказал, что с дураками спиритические сеансы невозможны. Ян выпалил: «Матка бозка!» А Валерка обиделся, мол, католики по-другому вызывают духа. Ну мы и напились — из души в душу. Гамза вот осталась, будешь?

Сорокин отказался от гамзы и пошел в спальню, где на одной кровати вместе храпели артиллеристы, а больше спальных мест не было. Он вернулся в комнату Василия и в знак солидарности с попранными чувствами Кузнецова сел спать на стул, телом своим образовав вершину треугольника, внутрь которого был вставлен овальный старинный стол.

Уже глубокой осенью Сорокин встретился с Кузнецовым на трезвую голову. Они вместе проводили спиритический сеанс. Компания была из пяти человек, где каждый знал кого-то одного. Сеанс удался. Главный дух откликнулся на третий призыв и разрешил задавать ему вопросы. Эти вопросы и ответы аккуратно записывал самый молодой из спиритов.

Утром Валерий Кузнецов достал старую общую тетрадь, где велись записи о спиритических сеансах десяти- и пятнадцатилетней давности. Удивительно, что на одинаковые вопросы дух давал одинаковые ответы, и Сорокин заподозрил, что тут

что-то нечисто. Обвинить в шельмовстве Валерия Кузнецова он не мог. Обвинять духа не стал.

Была суббота, шесть часов утра. Сорокин отправился к Софии Павловне, но его не пустили — место было занято. Он усмехнулся и поехал к себе домой — в коммунальную квартиру, где духи соседей говорили разные, но понятные вещи по любым вопросам. Засыпая в своей койке, он думал, что помещен в муравейник, что весь город тоже муравейник, что муравьи неким духом ловят информацию друг о друге и о пище. О врагах. О погоде. И, вероятно, чувствуют гибель — существует же общественный разум насекомых! Так ведь и люди не хуже муравьев — их общественный разум должен быть сильнее, чем у насекомых. Люди подчинены этому общему разуму гораздо сильнее, чем свободны от него. Только полностью оторвавшись от дружб и любовей, человек делается свободным для одиночества, но это его не утешает. «Настанет день, — думал Борис Васильевич Сорокин, — и я помру в этом небольшом объеме жилья, или на улице, или в больнице... какая разница, где помирать? И не станет на земле духа по имени Борис, и памяти о нем не останется. Зато появится другой чудачок и станет бабником, получит диплом, станет служить и прислуживать общественному разуму, и подойдет, как не жил... Надо бы попытаться вызвать духа один на один, вдруг отзовется! Тогда и жизнь приобретет понятный смысл, не так ли, Борис Васильевич?»

От напряжения мыслей он снова уснул и больше никогда не просыпался.

5. ДВЕ СЕСТРЫ

Старомодный рассказ

В декабре 1975 года шли дикие морозы. Они выморозили тучи, но сохранили облака в небе, облака же сохранили влажность. Терпеть мороз во влажном воздухе трудно. И нужно ли? Те, кто терпел, незаметно дичали. А кто мог укрыться от мороза, нежил себя мыслями об удобстве домов и квартир, которые в последней четверти XX века стали напоминать мечты и даже вымыслы. Тот, кто прожил, скажем, двадцать лет при печном отоплении и двадцать лет ходил в общественную баню по суб-

ботам, попав в изоляцию двух комнат, туалета, ванной и кухни, начинает распускать флюиды благополучия, сплевывая слова благодарности в адрес заботливого правительства.

Любовь Павловна Сыроватная не была так наивна, чтобы уют своего жилья относить на счет непонятной формы воображения, ведь государство — это плод воображения, который мы то осматриваем со всех сторон, то украшаем им новогодний праздник, то разрезаем на части, хотя бы умозрительно, чтобы выяснить кто и как совершает акции, которые отзываются обобщением меня-себя с существами, которых зовут населением, где ни попало. Любовь Павловна создавала свой рай своими руками и для себя одной. Некогда и она мечтала о гнезде на двоих, чтобы завести своих цыплят и вырастить из них такие взрослые особи, которыми гордятся даже незнакомые люди. Но любовь, без которой она не мыслила семьи, оставила ее без внимания, даже не пообещав ни дружбы, ни насилия. Было обидно, что этот человек слеп к ней, однако она не была офтальмологом и дать ему зрение не умела да и не старалась. Многие люди долгие годы живут сознанием того, что самое нужное и прочное с ними происходит спонтанно, а если эта спонтанность где-то загуляла, то не нужно ее заменять суррогатами. Как говорили старики: талант как деньги: есть — есть, а нет — нет. Считая народную мудрость состоявшимся уравнением, можно подставить вместо слова «талант» слово «любовь», и мы получим строгий и точный ответ на наши невзгоды. Количество слов, определяющих нашу судьбу, может быть большим и, если вам не лень, вы можете точно установить, последовательно и бескомпромиссно, все этапы своей судьбы, включая прогулку из лагеря А в лагерь Б в качестве перемещенного лица с номерным знаком вместо имени.

Любовь Павловна в молодости готовила себя к подвигам матери семейства, поэтому заранее определила путь высшего образования и выбрала специальность — она поступила и закончила Финансово-экономический институт. Специальность получила несколько странную и в те дни диковинную — программист. Из массы знакомых только Юрий Николаевич Шигахов оценил пронзительность ума девушки, он сам был таким специалистом и зарабатывал неплохие деньги, хотя деньги плохими не бывают, разве только фальшивые. Обычно же —

денег мало и добыть их непросто. Зная о заботе родителей и знакомых о деньгах, Любовь Павловна спланировала будущее, прицеливаясь к характеру своего избранника. Он и не знал, что попал в святые при помощи селекции, которую провела девица влюбленность. Вскоре Любовь Павловна перестала обольщаться заработком, она уразумела, что ее избранный ею не интересуется. Груз же любви из характера человека не выходит, как шлаки, поэтому Любовь Павловна бросила электронику и математику, превратившись в учительницу естественных предметов в средней сельской школе. Ту любовь, которую она должна была выплескивать на своих детей, она распустила по классам, завлекая подростков знать и думать, прежде чем делать и получать. Постепенно Любовь Павловна сделалась идеальной учительницей, о которой ни сплетен, ни легенд не разносили.

И вот зимою 1975 года она получила от старшей сестры письмо. София Павловна ей писала:

«Любочка, случилось хуже, чем несчастье. Я сама себе не хочу верить, но я все видела сама и даже участвовала в похоронах. Мой бывший муж Боря Сорокин умер. Не болел. Не пил. Не жаловался. А лег спать и не проснулся. Вот теперь я знаю, что любила только его, теперь я бы его берегла, как зеницу ока. Поздно, Любочка. Какие мы бываем дуры со своими влюбленностями, забавами и требованиями. Прости мне, но ты тоже была влюблена в Борьку, я это чувствовала, но я победила тебя. Надо было мне держать его за ошейник или на привязи, а я распустила... И сама распустилась. Зачем я дала ему развод? Назло, конечно. А взяла кусок дерьма взамен, да еще родила от этого дерьма идиота. Не совсем идиота, но Борькин сын просто академик по сравнению с этим кретином. Это ужасно, мне 45, а я не чувствую возраста. И мысли всяческие лезут не к месту. Друг Борькин — Василий Козловский, подполковник, все еще не женат, он мне позванивает изредка. Вот бы женить его на себе — вся память будет моя. И вспоминать можно каждый день — Василий не осудит, потому что сам был к Борьке привязан. Попробовать, а? Ты только пузыри не пускай — не читай мне наставлений и правил, просто думай, что твоя старшая сестра рехнулась от горя и одиночества. Утешь меня, Любочка. Целую».

Клубок разноцветных чувств завертелся в сознании Любви Павловны, она бы могла назвать некоторые цвета поимен-

но, однако ей не нужно было дезинтегрировать массу цвета на локальные лучи — она себя призмой не воспринимала и совсем не могла считать слова сестры импульсом света. И все же цвет чувств потянул память в уже далекое и недоступное прошлое, когда она пятнадцатилетней, но зрелой и ждущей женщиной подглядывала за старшей сестрой. Люба стояла в темной комнате у окна и видела, что под аркой во второй двор (там велись ремонтные работы) у сигнального знака «Посторонним проход закрыт» как бы танцуют на месте две фигуры — старшая сестра Соня и ее кавалер Борис. Она однажды видела Бориса при белом свете — он был небрит и рассержен. Парень рядом с ним называл его Борисом Васильевичем, и Люба приняла это за норму — думать о нем образом имени, все же он был старше лет на десять. Соня за глаза и в глаза звала его Борькой, это ей сходило с рук, вероятно, в голосе старшей сестры был некий наполнитель обещаний, который пересиливает грубость. Впрочем, Люба не думала о сестре, ее мысли о Борисе Васильевиче Сони не касались. Больше того, до вечера — до полуночного часа, когда Люба увидала их вместе под аркой, ведущей во второй двор, она не смогла бы сказать, что полюбила Бориса Васильевича. Но их танец, их страсть и смелость — о, далеко не каждый позволит себе расстегивать одежды, обнажать грудь или притягивать на ощупь, как слепая, мужского человека, который тоже пляшет до дрожи... Люба просто подменила собой Соню, воображая, и как только это случилось, она полностью и не думая влюбилась в Бориса Васильевича. Вот тогда-то и начались подсчеты судьбы — выбор профессии, отработка манер поведения, тренировка разговора на тот случай, если он к ней обратится. И мечты пришли в то же самое время. Люба даже не разочаровалась, когда Соня сказала, что Борька хочет на ней жениться, потому что она его соблазнила и удержала, что он из тех кобелей, которым надо потакать, а делать то, что тебе нравится. Люба подумала, что Борис Васильевич будет от нее ближе, чем был, и заметит ее хотя бы как младшую сестру жены, а заметив, поймет как она любит его и что она для него может сделать.

Сонька с сестрой бывала так откровенна, что Любе представить ласку Бориса Васильевича не составляло труда, — и она мечтала о ласках, выдумывала свои ответные ласки, мол-

ча проговаривала длиннющие диалоги между ними и, как ни странно, насыщала свое чувство взаимностью. Борис Васильевич все же не замечал младшей родственницы — для него не существовало такой женской единицы, как Любовь Павловна. После свадьбы сестра стала Сорокиной и тяжесть новой фамилии налегла на нее — она стала трещать, как сорока, но муж трескотни не замечал. Люба однажды сказала сестре, что она много разговаривает, что замужняя женщина должна быть сдержанна, что на ней ответственность за будущее потомство. И Соня вспыхнула, назвала младшую сестру фразершей и посоветовала ей не строить целку, а найти хорошего парня и сойтись с ним (хоть без загса, хоть в подвале), лишь бы прыщи на лбу не выскакивали.

— Не можешь мужика завлечь, сама себя балуй, тоже не плохое занятие.

Люба обиделась, но не спорила.

Через год она осознала, что интереса для Бориса Васильевича не составляет, что ее наряды и походка, ее серьезные слова для него невидимы и неслышимы. Еще год она положила на календарь ожидания — и напрасно. Год миновал. Соня ходила в положении. Борис Васильевич блудил на стороне — жена знала и не замечала измен. А Любовь Павловна позволила себе догадаться, что мечта не есть реальность, по крайней мере ее мечта и его реальность не стыкуются, и тогда Любовь Павловна еще раз просчитала свои возможности и желания. В итоге получилось, что ей надлежит стать синим чулком — ни богу свечка, ни черту кочерга, потому что в других мужчинах она не находила ни ума, ни страсти, не умея подглядеть или услышать их. Вероятно, если бы ее изнасиловали в каком-нибудь сквере или на пляже, Любовь Павловна была бы оскорблена нравственно, а физическая ее стать просто отключилась бы от чувств, потеряв надежду на Бориса Васильевича.

В конце шестидесятых Любовь Павловна переквалифицировалась и перебралась на Тверскую землю — близко от Москвы и Ленинграда, а поэтому без магнитных притяжений в тот или другой город.

В 1975 году она жила своим домом — своей половиной дома (она купила половину сруба), всю избу ей не было нужно, а половина была уютна и мила — там была горница (гостиная),

спальня в отдельном закуте, рабочая комнатка с маленькой библиотекой и угол с настоящей старинной медной ванной, воду для которой нужно было греть на чугунке (на плите) в избе зимою или на огороде летом. Ей было тридцать пять лет, но выглядела она как бы между днями — от тридцати до пятидесяти.

С началом жестокой зимы Любовь Павловна попросила соседку со второй половины избы топить русскую печь утром и вечером. Плитой Любовь Павловна пользовалась только для нагрева воды для мытья в ванной, а кулинарила на электроплитке с двумя конфорками. В день получения письма, возясь на кухне, она услышала, что старик почтальон переговаривается с соседкой, и вышла в сени, укрывшись полушалком.

— Мне что-то есть? — спросила она из-за двери, боясь мороза, который мог ошпарить лицо в открытую дверь.

— Газетки вам и письмишко, — ответил мужик бодрым пестушиным голосом.

Любовь Павловна отважно распахнула двери и, не дыша, взяла свою почту, удивляясь, что у почтальона иней на шапке, а лицо чистое и не красное.

— Спасибо, — сказала учительница. — Ух, холодрыга!

— Зима у нас, матушка, — пустым ртом улыбнулся почтальон. — Погоди, что в Крещение будет!

— А ты не пугай барышню, — вступилась соседка. — Возьмет и уедет от нас, кто моих малых учить будет?

Любовь Павловна уже сбежала от двери, она эти разговоры слышала не первый раз. Пройдя в рабочую комнату, Любовь Павловна разгладила помятое письмо и присела читать у настольной лампы под оранжевым шелковым абажуром. С первых же строчек Любовь Павловна как бы услышала голос сестры, и радужные чувства закружились в ней, что-то диктуя, но так размыто, что конкретного ответа не приходило. Из памяти ей опять увиделась пара в ночной подворотне — их судорожная любовь стоя, большая грудь Сони, которую целовал и тискал Борис Васильевич, и собачий трепет их обоих... В ту ночь некрасивость соития померкла, наградив Любу неожиданным оргазмом, от которого она присела под окно и ударила коленку о батарею. Вспышка сразу поникла, осталась истома, которую хотелось беречь, но и она растаяла. Потом Люба услышала, что Соня вернулась в квартиру, и поспешила к ней,

чтобы выпросить, чтобы перечувствовать еще и еще раз эту дикую животную любовь. Старшая сестра не была расположена к разговорам, она только бросила короткую фразу, что мужикам нужно потакать, потому что они гложут, когда им хочется близости. Люба не поняла и переспросила, мол, разве у них близости не было? Тогда Соня рассмеялась и сказала, что ей нужно подмыться, иначе она ничего не услышит. В ванной комнате Люба буквально стояла над душой у сестры и задавала вопросы, а Соня отвечала отрывками, но понятно, то есть достаточно ясно, чтобы воображение разгоралось.

— Зачем ты позволила с тобой так? — спросила Люба.

— Это как — так?

— Ну... стоя, как собаки.

— Человек ведь царь зверей, он для этого всяко устраивается — собакой, кошкой, рыбкой или валенком...

— Боже, о чем ты говоришь? Это не твои слова.

— Я сама так выдумать не умею, это Борька так сказал, он себя царем зверей считает.

— А человеком?

— И человеком, если в кинозале это делает.

— В кинозале!

— Учись, пока молодая. На любом клочке земли, а когда земли нет — стоя.

Люба не сказала сестре, что она чуть в обморок не упала, не сказала даже, что видела некоторые подробности свидания старшей сестры с ухажером, но воображение все же вытеснило Соню из картинок, а Борис Васильевич остался реальностью сладких судорог у окна.

Письмо сестры несколько оглушило. Принять фактом, что молодой Борис Васильевич — подумаешь, 45 лет! Он же вел себя мальчишкой! — что Борис Васильевич умер — нет, нет, и нет! А Сонька, подумать только, хочет женить на себе Василия, чтобы вспоминать Бориса, — прямо стерва какая-то! И надо же — двое детей, один — умница, другой... Другому десяти лет нет, никто не знает его ума или глупости. Любовь Павловна подумала, что может усыновить ребенка, однако через несколько минут эта мысль показалась ей преступной, потому что заменять Бориса Васильевича — живого или мертвого — неким лицом она не согласна. Лишать себя жизни тоже нет причи-

ны — он же в упор не видел любви к себе от Любови Павловны. Следовательно, остается жить с памятью, укреплять эту память и очищать ее от наносов бреда, даже если бредит его жена и своя собственная старшая сестра.

Было далеко за полночь, когда Любовь Павловна стала писать ответ. Письмо получилось короче, чем ей хотелось бы, но самое важное было сказано, значит длина письма получилась достаточной.

Любовь Павловна написала следующее:

«Дорогая Сонечка, я вполне сочувствую тебе и себе, ты права, я была влюблена в Бориса Васильевича. Не была, а просто влюблена, все двадцать лет, которые я его знала, я любила только его. Он же меня просто не видел. И ладно, что уж сейчас жаловаться на судьбу?! Я полюбила хорошего человека, я в этом совершенно уверена. Ты не моложе меня, сестренка, но по биологическим часам тебе все еще двадцать пять лет, ты все еще толстушка и все еще рада любому вниманию к тебе. Это славно, это обещает видеть тебя снова замужем.

В моей жизни нет изменений и нет интереса. Не было до твоего письма. Теперь появился. Я тебе призналась, и ты меня поймешь. Отдай мне Антошку, сына Бориса Васильевича, мы с ним сойдемся — я заменю ему отца и мать. А тебе легче будет завести новую семью, и жить с одним ребенком легче, чем с двумя. Летом ты можешь присылать мне младшего сына, тут и река есть, и лес хороший — грибной, а у тебя три месяца могут быть летние каникулы. Подумай, Софочка, и решайся. Целую тебя, Люба».

Утром она занесла письмо на почту. Ей показалось, что почтари у своих столов не уделили ей должного внимания. Поведение чужих людей Любовь Павловна считала равным приметам, а примета безразличия говорит о том, что вокруг нее образовалась пустота — некое разреженное, что ли, пространство, куда еще не проникают посторонние силы. Она подумала, что силы существуют, следовательно, рано или поздно ворвутся в ее окружение и окрутят.. Слово «окрутят» в деревне звучит игриво и сексуально, возможно, Любовь Павловна вычислила в себе склонность к деревенской поэтичности, поэтому переехала в деревню. И приметы, на которые ссылаются деревенские бабы, ей были знакомы и понятны. И пустота, намекав-

шая на будущее — на оккупацию ее спокойствия, показалась ей не тревожной, а заманчивой. «Софка в сорок пять мужика ищет, — подумала Любовь Павловна, — отчего же мне не ждать счастливого часа в мои тридцать с гаком?»

Любовь Павловна не знала, что у старшей сестры уже начались приливы — наплывы жара и желания, от которых кружится голова. София Павловна стала более податлива, чем в молодости, впрочем, жадиной она не была с восемнадцати лет, просто счастье откликнулось ей только в двадцать пять, когда сквозь свет ночного фонаря за окном на нее опустился Борис Сорокин, разгребая тьму, как пловец. Софочка сразу откликнулась, встретила его с распахнутыми руками и ногами и так удивилась его точности и стремительности, что сжалась всеми мышцами и дыхание проглотила. В следующую секунду она ощутила в себе помеху, дернулась, чтобы восстановить правильность положения двух тел, ощутила, что он перескочил вверх, взвинтил ее чувство и нырнул в нее с такой паникой, что её нутро задрожало. Еще несколько секунд она держала его мертвой хваткой, не решаясь вздохнуть, чтобы не выронить крика. И отпустила. И расслабла. А он не пошевелился. Застыл вертикально, а дышал тихонечко ей в шею. Софочка стала массировать спину Бориса, похлопывать по лопаткам, качать его тело со стороны на сторону. Он вдруг взорвался, выплеснув волну огня ей вовнутрь, и затих. Не просто затих, а уснул. Держа его на себе и не беспокоя, София Павловна поклялась, что женит Борьку на себе во что бы то ни стало. В дальнейшем она узнала наркотическое действие страсти, когда видела Бориса еще издали. Она возбуждалась, думая, что он опять заставит ее быть полуголой снизу в трамвае или в музее и принудит ее восхищенно страдать на людях, изображая растерянность или стыдливость. Став женой, София Павловна почуяла некую утрату желаний, но отнесла это на счет бытовых неустройств — все же им обоим нужно было работать и зарабатывать, а после работы нужно и готовить, и стирать, и в театр пойти хочется, и к приятелям... Суббота делалась долгожданной, как святой праздник, и они не вылезали из кровати до полудня. Беременность внесла долю своей неприязни в любовь — с четвертого месяца София Павловна стала полнеть, аппетит ее разросся на весь день, а Борис Васильевич стал задерживаться на работе, вернее, шляться по

девкам — это София Павловна определила по запахам от его рубаш и трусов. Она не обиделась — загулы, дескать, временные, как родит, так все вернется на прежние рельсы. Не вернулось. Зато за Софией Павловной стал ухаживать богатый дядька — директор магазина. Он заваливал ее цветами, угощал пирожными, говорил смелые комплименты и за три года склонил ее к измене мужу. Никакой радости измена не подарила, но для личности Софии это стало бастионом: она узнала, что ее любят, что она может завлечь самца, что может выбрать себе обеспеченную жизнь. Она поругалась с мужем, оскорбив его, и высказала ему свою теорию, по которой получалось, что он, Борис, только хахаль, а не муж — потопчет, как петух, и бежит на другую курятню, а к ней сватается деловой человек... Борис не стал слушать, сказав, что он не против развода, если ей нужен развод. Вот, собственно, и вся семейная жизнь Софии Павловны. Со вторым мужем жизни вовсе не было — нечего вспомнить. Она не посвящала сестру в детали своего счастья; если они разговаривали о мужиках (Любовь — о Борисе Васильевиче, София — о тех, кому поддавалась на улице и дома), то Соня детализировала секс, а Люба выпрашивала о словах, которые говорят мужчины для или во время секса. Обе ничего не скрывали, но и не рассказывали ничего конкретного, поэтому старшая сестра слегка догадывалась о влюбленности младшей, а Люба сделалась уверена, что всякая любовь — грязь и стыд, если эта любовь не для Бориса Васильевича.

Теперь, в преклонном возрасте, который София Павловна отрицала в себе, она захотела семьи, у которой было бы прошлое, связывающее мужа с женою. Она не учитывала желаний Василия Николаевича Козловского, уверенная в том, что она для него желанна, смела и загадочна. Еще она допускала, что некие вольности всегда возможны для нее, но последний муж о них не должен знать.

Любовь Павловна точно вычитала из письма старшей сестры всю стратегию нападения и обороны и не приняла ни одной стороны — ни сестриной, ни друга Бориса Васильевича. А судьба Антона — сына Бориса Васильевича — показалась Любе заброшенной и нечеткой. Она вспоминала слова своего письма и думала о том, как примет их старшая сестра. Ответа от Сони не приходило.

Прошел январь, все еще крепко морозило, но само слово «февраль» обещает потепление, это ещё Пастернак подметил:

Февраль. Достать чернил и плакать!

В феврале от Сони тоже не пришло письма.

Наконец в начале марта, когда случилась короткая оттепель, беззубый почтарь принес ей конверт и сказал глупое:

— Пляши, а то не отдам.

Любовь Павловна вскинула ручку кренделем и притопнула. Взгляд почтаря схватился за ее выпирающую грудь, но упал, застеснявшись. Любовь Сыроватная заметила беззубый интерес мужичка, но как бы не с его стороны — не его глазами, а своими, и в своих глазах она была хорошо сложена, мила и обаятельна. Закрыв входную дверь, она с письмом прошла мимо зеркала в горнице — и в зеркале ей показали милую, стройную и обаятельную себя, которой Любовь Павловна мягко улыбнулась.

Ритуал перед чтением завершился. Письмо чуточку жгло ладонь, или так показалось Любви Павловне. Она присела под абажур, как два месяца назад, спицей вскрыла конверт и вытянула оттуда двойной тетрадный лист бумаги. Две с половиной страницы были пусты. Крошки текста просто обижали Любу, да еще почерк Сони был кругл и широк — если писать убористо, текст занял бы меньше страницы. Она не решалась читать, ведь коротким текстом обычно отказывают или отписываются, а родная сестра может коротко оскорбить. Тогда она разрешила себе подпустить любопытства, мол, что можно сообщить младшей сестре так коротко? Любопытным глазом Любовь Павловна впиалась в проволочные слова Сони — та писала шариковой ручкой, поэтому линии букв выглядели голубой проволокой.

«Любасенька! — писала Соня. — Я всегда была уверена, что моя сестренка умница и помощница. Ты предложила именно то, что может создать нужные условия для встреч с Василием Николаевичем. Я заметила, что мои дети его раздражают, а Сашка, свиненок, нарочно называет его папой. Антоша вроде бы понимает, что мне нужна замужняя жизнь, и твое предложение ему понравилось. Только предупреждаю тебя — он уже вырос, у него бывают поллюции, а однажды я увидела, что он мастурбирует. С подростками труднее, чем со взрослыми или

детьми. Теперь сообщаю, что мы с Васей решили обойтись без свадьбы, поэтому на свадьбу не приглашаю. Может быть, мы привезем детей к тебе весной... Я еще напишу. Целую тебя, Соня».

От письма ли или от неумоимого воображения у Любви Павловны разболелась голова. Она приняла три таблетки аспирина и почувствовала не облегчение, а опустошение — выпотрошенность и — заброшенность. Ее с внешним миром связывала только тоненькая ниточка согласия Сони. Она уснула полулежа и не раздеваясь. Всю ночь ей маячили сны — как бы издали, как бы не ее личные сны, но очень настырные — они накатывались к ней, как шары, ударялись без звука в невидимую стену и откатывались. Сны состояли из молодых людей, которые проявлялись из немой тьмы и неслись на нее. Трудно было понять, бегут ли они, идут или плывут, но впереди каждого тела летело фасом лицо. Эти лица были подвижны от улыбок, но смысл улыбок не успевал доходить до Любы, потому что, отскакивая от невидимой стены, улыбки исчезали. От таких снов устают, поэтому очнувшись среди ночи, Любовь Павловна встряхнулась и приняла холодную ванну. Освеженной и окрепшей, она нырнула в кровать и, утопая в перине, заснула, как дитя.

Потом понеслись дни ожидания. Чем ближе делался возможный день приезда Антоши, тем прерывистей становились часы, словно каждый день распадался на сорок восемь часов, а то и больше. Наконец прилетела открытка:

«Любочка, встречай Антона, он едет один. Обязательно заставь его написать мне. И сама напиши. Целую, Соня».

На станцию — семь километров — Люба не пошла, она попросила беззубого почтаря встретить ее племянника. Почтарь согласился и даже не спросил о том, как выглядит племянник учительницы. Люба стряпала обед, а до этого приготовила свою спальню для Антона — пусть у парня будет своя комната. Она слышала грохот полуторки, на которой обычно привозили почту со станции, и выбежала на крыльцо. К ней навстречу сквозь калитку шел молодой Борис Васильевич Со рокин, она даже вздрогнула от сходства отца и сына. Антон ташил в лапе рюкзак, набитый какими-то остроугольными предметами.

— Привет, — сказал Антон. — Я не знал, что у меня есть прекрасная тетушка.

Любовь Павловна зарделась.

— Как мы будем — на ты или на вы? — спросил племянник.

— А как получится, — улыбнулась Любовь Павловна.

— О, это по делу! — обрадовался подросток. — Обед готов?

— Обед готов, — кивнула она, — но с дороги хорошо бы принять ванну.

— А искупаться нельзя?

— Можно, только обед отойдет в область ужина, — улыбнулась тетушка Антона.

— Тоже очень красиво, — признал Антон.

Она пошла с ним к реке и ждала, сидя под кустом калины, пока Антошка накувыркается в воде. Тело у него было еще мальчишеским, но уже квадратные мышцы лежали на груди, по животу обозначивалась решетка, а бицепсы на руках говорили о врожденной силе. Когда он выскочил на берег одеваться, Любовь Павловна испугалась, хотя скрыла свой испуг: мокрые трусы обтягивали пояс и бедра подростка, но репiс поднимал мокрую ткань трусов строго горизонтально и мог случайно задеть куст или тетушку... В брюках Антон казался безопасней и ребячливей, они даже взяли за руки, топая по мягкой пыли грунтовой дороги.

Ужинали они на скорую руку — не хотелось сидеть за столом. Антон был в восторге от своей комнаты и хотел побыстрее расставить свои вещи, чтобы обжиться. Угловатыми предметами в рюкзаке оказались книги. Если бы не конец XX века, если бы Любовь Павловна не знала, что Антон — сын сестры, она подумала бы, что это потомок хитроумного идадьго, которого волнуют рыцарские романы и боевые приключения. Ни одного учебника в рюкзаке не оказалось. Ни одной тетради. Только романы и спортивные кеды. И всё. И прекрасная тетушка подумала, что новое поколение — плоть от плоти предыдущего — все же совсем иное, поэтому непонятное, но ужиться можно...

...Через полтора года Антон Борисович Сорокин покинул дом тетушки Любoви Павловны — он решил поступить в Ленинградский университет, где занимались его приятели.

Эти полтора года породнили тетушку с племянником так, как не может роднить прямое родство, которого в сущности люди не чувствуют. Любовь Павловна загрустила и поэтому — постарела. Когда Соня написала ей, мол, не сиди в своей дыре, а приезжай жить в город к ней, Антон скучает, да и им с Василием Николаевичем бывает скучно, младшая сестра не выдержала разлуки, бросила свою половину избы, отдав ключи соседке, и переехала в Питер.

Они проживали дружно в четырехкомнатной квартире в Гавани на Васильевском острове, обменяв квартиру профессора Козловского и однокомнатную квартиру Сони, что называется — съехались.

Антон с третьего курса стал пропадать в экспедициях. Его младшего брата отсудил отец и так настрополил парня, что он возненавидел мать и отчима, брата и тетку.

Старушки возле дома судачили, что отставник Васька живет с двумя бабами, но сами же этому не верили.

А Любовь Павловна сделалась как бы хозяйкой в доме — ее поручения исполнялись беспрекословно, ее советы всегда были правильны, и Софию Павловну устраивало даже то, что Василий изредка прижимал младшую сестру в кухне или в коридоре, но задрать подол так и не решился, зато награждал Любовь Павловну невероятными всплесками волнений.

Евангелие от лукавого

Книга Каиафы,

или

АПОКРИФ

Глава первая

1. Я свидетельствую тебе и для тебя, преемник мой, свидетельствую об истинном, ибо только истинное знание нужно тебе. Попомни слова мои: утеря знаний равна утере власти духа над плотью.

2. Я свидетельствую тебе о том, что ты будешь зваться Первосвященник, — но нет имени тебе до той поры, когда сила твоего ума поразит чернь окрест тебя: жуть и благоговение должна воспринять от тебя толпа!

3. Каиафа имя мое, я смертен, как всякий сын человеческий. И люди живут среди людей, подобные среди подобных, и дни их жизни сочтены породой их. Но что имя мое для тебя? Что имя мое толпе? Мое имя могло быть Аарон или Фесиль, Гирш или Аш, имя есть только звук, а звуками полна Вселенная — кто их слышит?! Важно тебе, что я есть предтеча твоя, опыт твой и твой первый шаг.

4. Главное в жизни твоей — власть. Ты примешь ее от меня и ты удержишь ее до поры, когда преемник твой войдет в силу и проявит мудрость свою. И ты передашь ему власть нашу, и напишешь о делах своих, чтобы зерна священной мудрости сохранились для веры нашей и для народа нашего.

5. В начале было молчание: бездна и темнота, в которой билось сердце солнца нашего. И вспыхнуло солнце во время свое,

ибо всему свое время есть в мире вещей. И свет солнца открыл планеты его, и свет солнца дышал временем жизни.

6. И Земля тогда была морем воды, и люди были как рыбы. И Солнце отняло у моря часть его, чтобы дать Земле облака, их не было прежде солнца, и на месте воды стала суша. И две луны всплыли над Землею во мраке ночном, и одна была большей.

7. Жизнь шла своей чередой, выращивая одно и губя другое. И человеки стали обитать у воды род за родом своим, обвыкли к месту жизни своей и покидали его неохотно, и неохотно принимали посторонних.

8. Были там мудрые, были трудолюбивые, и ленивым нашлось довольно места, однако они не попрекали друг друга, ибо не завидовали.

9. Первым мудрым был Один, знающий силу духа, — Он стал первым Первосвященником и сказал неразгаданное слово «бог». И слово стало разящим и разделяющим; и отделил Первосвященник себя от толпы народа своего, как отделил дух от тела, а потом отделил свободу от рабства. Совершив это, Он создал новое слово — Власть.

10. Попомни: каждый противопоставляет себя толпе, следовательно, каждый жаждет власти над ближним своим и над дальним своим и каждый обольщается властвовать. Не верь в пресыщенность властью, ибо это ложь. Чувству пресыщения нет места в покаях власти. И суета отступает от разума, когда знаешь, что сила твоя именем Господа бога твоего строит историю народа, из среды которого ты вышел. Отеческая любовь наполнит тебя к народу твоему, но ни к одному из среды его.

11. Признав место свое, народы кочевали по земле своей по причине нужды своей: скотоводы шли пастбищами, звероловы искали берлог и гнездовий. Гермес Египетский даровал народам хлебный злак, и толпы ринулись хлебопашествовать, осели на полях своих, сгущились, застроились городами.

12. Но и города разнятся, как стада: тот тучен, а этот — хил, иной силен, а за ним стоит хрупкий.

Народы городов, как зерна, ценность их от земли. И крепок город, если зерна его собраны в колос, а колосья — в сно-

пы. Что служит крепостью снопам? Что есть колосья оседлости? Верование.

13. Попомни слова мои и спрячь их в глубину сердца твоего:

Кочевникам довольно идола. И они сделали идолов. Людям городов нужен единый бог — бог создатель и ревнитель, непознаваемый и могучий, — и мы служим этому богу, ибо знаем его.

14. Памятуй о душе Моисеевой и о делах рук его, ибо слова скрижалей его нетленны. Хвала Моисею, отцу мысли людской! Да будет имя его незабвенным в веках и народах! Славь имя Моисеево громким голосом — каждый день славь его, чтобы слышали слушающие слова твои и верили вере твоей, ибо имя Моисея есть краеугольный камень дома верования нашего.

15. Истины Моисея — истины вечные и правильные. Чернь должна знать и крепко помнить истины эти, и следовать им, и повиноваться смыслу их, или бояться хотя бы наказания за нарушение этих истин.

16. И помни: человек рождается в грехе своем, ибо не умыслом, а похотью начало его, — и мы очищаем человека от греха их, ибо сказано: кто родится чистым от нечистого? И как человеку быть правым перед Богом, и как быть чистым рожденному женщиной?

17. Истины Моисея принадлежат нам — пастырям народным, но служат они для вразумления черни.

Пастырь, будь свободен в силе своей и в словах правды своей!

18. Но живы язычники — враги наши, они засевают и жнут, строят и выстраивают, и рожают роды в родах своих. Города их — города укрепленные. И дела рук их крепки и желанны. Береги язычников, ибо они есть овцы будущих стад твоих. Береги язычников, ибо без них нет нужды в тебе: язычник как вор, а пастырь как сторож стад, и где не будет воров, не будет и нужды в страже твоей.

19. Пастырь, делай каждый шаг твой с именем закона твоего, ибо закон твой — щит твой, и закон твой — стена дома

твоего, и крыша его, и дверь крепкая. Служи закону твоему! Каждый день тверди слова закона твоего, ибо это нетрудно и не имеет цены.

20. Мал народ мой, от коего я изошел, мал и слаб, но сильна мысль его и крепки слова закона его, и Первосвященник заключает завет с Богом народа своего.

Я свидетельствую тебе о грехах народа моего, мои дела неразрывны с народом моим.

Глава вторая

1. Попомни: нет виновных в том, что Рим повсеместен, а римлянин силен и упорен. И неповинен никто в том, что цари земные могущественней царей духовных. И умирает один царь, и на место его всходит сын его, или брат его, или его враг, — но только мы, цари духа, правим по жребию. Избрания, а не владения хотим мы, но терпим произвол случая.

2. Но я пославлю народ мой, я сломаю произвол властителей Земных, я дам народам путь и заключу новый завет с богом моим для всех народов земных. Ты, преемник мой, будешь служить при новом завете, соблюдая постоянный закон бога нашего. Новый завет — новый свет миру и новая судьба народа моего! Я узрел перемену во тьме каждого дня, молнией сверкнула она одно мгновение и озарила потемки уголков земли. Я запомнил озарение сие. Слова мои и дела мои с той поры обрели смысл озарения моего, и увидел я путь как бы над всем миром, как легкое стремление ввысь — туда, где уже не страшны страхи.

3. Отныне: забудь имя мое: кто помнит делателя первого колеса?

Вникни в слова мои, исследуй их, расчлени и рассыпь и составь вновь — в соль и горечь обрати их, восторгом и жутью наполни их, чтобы сладостно было слушать слова твои.

4. Было прежде бывшее, многое из которого часто повторяется поколениями: родятся и умирают, любят и трудятся, и

убивают в удовольствие себе. О, стада людские своеобразны и тупы и проносят зерна мудрости мимо рта своего.

5. Еще было в былом: два брата некровных вздумали мутить народ мой, помышляя о власти царской. Но отчего мутятся народы и племена замышляют недоброе? Нет упования в них. Вожди их — вожди вздорные, а народ без вождя — как вода в бадье: властная рука расплещет воду эту, и прольет ее, и вновь наполнит бадью. Но нет у них упования.

6. Братья были сперва юны, потом стали молоды — молоды и сильны в знании закона нашего, и духом смелы, и книги пророков помнили ежечасно. Оба они в юности своей проживали в стране Исхода. И оба они укрепили свои знания в пещерах пустынников.

7. Старший брат был годом старше младшего, именем Иоанн, признанный сын Захарии из Вифлиема Иудейского. Иоанн был горяч как воин, и неутомлен как пророк. Он пророчествовал, обличая, бесхитростно и зло. И недолго, ибо язык его стал врагом ему самому.

8. Иоанн был вида дикого, обряжен дерюгами, космат, как Исав, и жилист, и в еде своей неприхотлив. И бесстрашен. Истовость его сгубила его.

9. Другой брат полукровный именем Иисус, он выходец из Назарета Галилейского, чья мать была племянницей матери Иоана, звался сыном Иосифа-плотника из рода Яковлева, из роду Давидова, из роду Адамова.

10. Иисус, напротив, любил одежды мягкие и свободные, белые, льняные или хлопковые с серебряными заклепами; любил яства и вина, мирру и елей и был склонен к любовным излишествам. Лик у него был бледным, глаза спокойные, уверенные, медовые, большие.

11. В земле Исхода Иоанн не нашел пользы себе, и пустынники не одарили его терпением мудрости. Зная порочность мира сего, он лютовал на народы, не выделяя праведные и богобоязненные. Брата своего чтил без меры и зависти, но с удивлением, ибо брату его открывалась наука премудрости так легко, как солнце легко открывает завесу ночи над землею.

12. В пещерах у пустынников Иисус начал умело врачевать приложением рук своих к телам немощных, и недужные крепили, а иные вскакивали, как здоровые, и начинали ходить. Отвращевая, Иисус делался бессильным на некоторое время — дремал, или молился, или напивался вина — как когда.

13. От пустынников Иоанн ушел к водам Иорданским и стал пугать прохожих угрозами силы божьей, проклинать грешников, требуя покаяния и очищения. Истовость и дикий вид его соткали пророческий образ в сердцах народа. И быстрая слава, как огонь по соломе, пролетела по городам Иудеи.

14. В пятнадцатый год Тиберия, кесаря римского, я — Каиафа, Первосвященник из Иерусалима, вышел к Иордану, не таясь и не величась, и принял очищение от руки пустынника Иоанна, и спрашивал его, и он отвечал мне.

15. — Кто ты есть? — спросил я его. — Пророк ли ты народа нашего или Христос божий? Знаешь ли ты, что пресна вода в реке этой, но и в Ниле и Тигре течет пресная вода? Отчего же ты избрал местом очищения Иордан? Можешь ли ты очистить народ сей водою иных рек или удалить соль Мертвого моря? Как долго будет очищен очищенный тобою — год? Неделю? Вечность?

16. — Я очищаю водою, — отвечал Иоанн, — но есть некто, следующий за мною, он будет очищать духом святым, и его очищение вечно. Нет имени мне, ибо мое имя в следующем за мною, я — звук имени его, глас вопиющего в пустыне я есмь: приготовьте пути господу своему, прямыми сделайте стези их!

17. И еще спросил я Иоанна: — За что ты хулишь народ, идущий к тебе? Отчего обличаешь, не утешая?

18. И он ответил: — Знаю, кто ты есть, человек. И правду твою знаю. И ты увидел правду мою. Пойдет ли безгрешный очищаться в пустыню из города? Пойдет ли счастливцев слушать слова грозные? Всякий дол да наполнится, а всякая гора — унижится, и прямеют от покаяния пути кривые, а кочки и ямины скрадываются за ненадобностью. Кто внушил грешнику бежать от гнева господня? Страх и виновность! И секира лежит при корне дерев, принадлежащих огню.

19. Знаю, ты правишь во храме, а цари царят над народами. Но каковы деяния их? Если мытарь умыкнет жену брата своего, его побьют камнями. Или торговец ляжет в постель с дочерью своей жены, и его камнями побьют. Скажи, отчего царям народным позволен грех прелюбодеяния? Есть ли слова закона для жизни их?

20. — Юноша, — отвечал я, Первосвященник, ему, возбужденному, — юноша сильный и славный, знаешь ли ты, что не царям земным писан закон завета нашего? Нет слов в законе для царей земных, ибо не слушает ухо их слова правильные, но уста произносят. Власть царя — власть крепкая, и славные цари существовали, но где цари безгрешные? Не суета ли обличение твое?

21. — Суета сует — всё суета, — отвечал Иоанн. — Крепка царская власть, и крепки слова, ее разрушающие.

22. — Но для чего это? — спросил я, Первосвященник. — Не сменят ли рухнувший камень стены крепостной новым камнем, не укрепят ли его прочнее прежнего? Будет ли расти кипарис, если усечь вершину его? Скажи, чем заменишь ты голову человеческую?

23. Но отвернулся от меня Иоанн, извлек мед сотовый из плошки каменной и вкусил. И предложил плошку с медом мне, и я ел мед этот и запивал водою иорданскою.

24. Следующим утром был день пред-субботний. И многие скотогоны, и многие хлебопашцы, и мастеровые люди шли из городов своих к Иордану, ибо суббота есть день отдыха. И, приходя, каждый шептал Иоанну слова покаяния своего, и каждого Иоанн толкал в воду — благословлял каждого.

25. И Иисус-назаретянин пришел к источнику для очищения — поговору пришел. Иоанн же смотрел на него как бы не видя, и выкрикивал слова бессвязные, и в воду толкнул брата своего весьма сильно. И когда одевался Иисус, то голубь взвился над ним — взвился и опустился, опустился на плечо его.

26. И тут возопил Иоанн: — Свидетельствую! Свидетельствую духу, сходящему с неба!

27. И с того дня я послал соглядатая вслед Иисусу. И шел мой соглядатай до земли Галилейской, до города Каны — три дня шел мой соглядатай и высмотрел, что голуби прилетали к Иисусу и отлетали от него, это были голуби почтовые, египетские. И еще донес мой соглядатай, что Иисус имел власть над человеком, когда глядел в глаза человеческие. И понял я правду пустынников: сие есть врач лечащий. И прошло любопытство мое о братьях этих, ибо не было в них новости для меня, но прошло только до той поры, когда казнил царь Ирод пустычника Иоанна, прозванного Крестителем.

Глава третья

1. Буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего, — и Бог мой услышит меня.

2. В пору ночную взошел я на крышу дома своего для молитвы и бдения, чтобы зреть воинство небесное, и видеть пути его, и выверить по этим стезям пути земные. На стражу свою встал я во тьме и, стоя на крыше, наблюдал, чтобы знать.

3. Но вдруг хлынула тьма и заволокла сияние небес, и удушющий воздух накатывал волнами, словно за стеной мира открылась дверь преисподней. И шумы угрожающие kloкотали вокруг, отбегали и набегали, как толпы убийц.

4. И яркая молния прорезала тьму небес, и свет ее озарил все кровли Иерусалима, все дворы и закутья, и все улицы, и скот, и телеги, и выюки, и ночных сторожей, и евреев, и греков, и римлян, и прочих живущих в святом городе.

5. И в мгновение света жила тишина — ни рева животных, ни стука, ни скрежета, ни голоса людского.

6. И молния иссякла. И мгновенно мгла скрыла мир, родив голоса ослиц и верблюдов, бряцание посуды, собачий лай, топот и ржание, клекот воды и невнятицу человеческих речей.

7. И озарение это проникло в сердце мое, и я понял, что Бог, как молния, светел и един для всей земли: для фарисеев и садду-

кеев, для язычников и скотов, для трав и деревьев, для камней долины и для воды рек и морей, и это есть Бог Израилев.

8. Как тьму покоряет свет, так покорятся народы Богу моему, Богу Израилеву, Богу живому и сущему, грозному в гневе своем и щедрому в дарованиях. И город Бога моего станет вечным городом славы и поклонения, и бессмертен станет народ мой в Боге моем.

9. И ужаснулся я озарению своему, и вздрогнул, и понял, что оно истинно, ибо крепкое сердце познает Вселенную через страх.

10. И еще понял я, что слова об озарении моем не будут иметь действия силы: глух народ мой к словам, и молитвы твоит бессмысленно, но обоняет курения жертвенные — и верит.

11. И встал я на колени свои на крыше дома своего, и молился, и вымогал откровений озарению моему, ибо знаю, что вдохновение рождает слова, а слова обнаруживают смелость, смелость же направляет деяние вещей... или трусость.

12. Свет мой горный, свет грозный и тихий, даруй мне ясность моих забот, направь шаг мысли моей и не отклони меня от пути народа моего! Духом крепким и оком пронзительным надели меня, огради от суесловия и восставь на созидание.

13. Мал мой народ, и горька судьба его от начала его. Нарекшись народом божьим, потерял народ мой землю под ногами своими, и плоды труда своего делит с необрезанными.

14. И черно вчера народа моего, и темно его завтра. Из малых он сделался наименьшим, и малое его делят жадные руки.

15. И Египет был силен прежде, и просторен, и мудростью питал мудрых, и кормил голодных, и подчинял слабых. Но где он ныне?

16. И греки некогда были могучи, и воевали мир от края до края, и покорили мир этот, но и сами поникли.

17. И персы ринулись, как вал морской, и воевали всю землю, и накрыли всю землю собою, как морская волна, но рассыпались, как пена морская на берегу песчаном.

18. Где место народу моему под мечами, разящими исполинов этих? — Рухнули они, ибо такова судьба величия силы. Но вот распространился Рим — по землям Египта и по землям персидским, взял греков и подчинил эфиоплян. И при Риме нет места народу нашему.

19. И Рим сгинет, ибо не вечна сила мышцы его. Но что до этого народу моему? Рассеян народ мой в коленах своих, и нет единения в колене каждом, но каждый в колене каждом тщится владеть и пророчествовать. Легкой наживой видится народ мой врагам его.

20. И возмутился дух во мне, и слезы обожгли глаза мои, и плакал я на крыше дома своего до утренней зари, и уснул в слезах, не вставая с колен своих.

Глава четвертая

1. Иисус, названный сын Иосифа — плотника из Назарета Галилейского, ходил от поселения к поселению и проповедовал, изъясняя Писание, и проповеди его были неприятны многим фарисеям, ибо отделил Иисус чернь, как правых, от фарисеев, как виновных.

2. Об эту пору Ирод-четверовластник взял Иоанна, прозванного Крестителем, в узилище и держал его без пищи и воды, внушая ему, чтобы говорил о царе своем без хулы, но ожесточилось сердце плененного.

3. И проклял Иоанн царя своего и род его в потомстве его. И казнил царь Ирод-четверовластник Иоанна Крестителя — обезглавил его, говоря: — Вот, усекновением головы некоторых прославлю себя, и увидят, что я жил.

4. И упрекнул я, Первосвященник, царя Ирода:
— Кому нужна была смерть эта?

5. Трогаю ли я слуг твоих храма твоего? — отвечал Ирод. — И ты не заботься о слугах моих. Казнить и миловать есть власть царя, а тебе надлежит молить обо мне бога своего.

6. И восскорбел я сердцем своим, и отошел от царя, и подумал, что и мне быть обезглавленному при упорстве моем, но царь боится анафемы, как шамес, а величие царское — дело привычки людской.

7. И еще подумал я о том, что цари считают священников отрядом слуг своих, но не может вечное быть слугою смертного, и не будет.

8. По смерти Иоанна Крестителя, в знак памяти и печали, брат его именем Иисус накормил толпу многочисленную пятью хлебами ячменными и двумя вялеными рыбами: преломил и дал им вкусить. И ели в толпе, и насытились, и говорили об этом как о чуде.

9. И отошел Иисус от Тевериады и от моря Галилейского, и удалился к пустынникам за Иордан, где укрывался до самого праздника Пасхи, а к празднику двинулся он на Иерусалим, ночуя у мытарей.

10. И когда подходил Иисус к Вифании, то вышел к нему Первосвященник на встречу с ним, ибо избрал Первосвященник Иисуса из Назарета вестником озарения своего.

11. И возлежали ночью Первосвященник и Иисус в доме мытаря, а с ними возлежали ученики Иисуса и некоторые из горожан, любопытных к толкованию закона Божьего.

12. И когда возлежали они для питания тел своих, то нарезал Первосвященник желтые луковицы кусками и предложил ученикам Иисусовым при некоторых из горожан, кои были при вечере той, говоря: — Это яблоки сладкие и сочные, поставленные из земли далекой и сказочной.

13. И ели они куски лука горького — ученики Иисусовы, а некоторые из горожан видели это. И сладко было ядущим, и просили еще. Но сказал Первосвященник: — Довольно с вас и этого.

14. И еще сказал Первосвященник ученикам Иисусовым и некоторым из горожан, кои были при вечере: — Смотрите, или не видите? Гады ползучие лезут к ногам вашим от порога дома сего — не убоитесь ли?

15. — Боже, избави! Боже, избави! — кричали они и вскакивали на ноги свои и лезли на столы с яствами — лезли для спасения своего, но гадов не было в комнате, где была вечеря эта.

16. И улыбался Иисус из Назарета и подбадривал словами Первосвященника: — Сильный в умении своем, для чего ты творишь чудеса эти? Малые сии не запомнят их, и никто не расскажет о тебе народу твоему. Мне же не удивительны чудеса твои, они для детей.

17. — И мне не удивительны твои чудеса, — отвечал ему я, Первосвященник. — И в проповедях твоих нет новости для меня, а хуление фарисеев стало обычным в народе нашем.

18. — Не потому ли народ сей избивает камнями пророков своих? — усмехнулся Иисус.

19. — Не оттого ли каждый обрезанный тщится пророчествовать о десятинах левитиной и видит грехи свои в сердце священников? — возразил я, Первосвященник. — Многим из них завидна участь священников. Не хочешь ли и ты стать начальником синагог наших?

20. — О нет, Учитель! — отвечал Иисус. — Я всего лишь проповедник слова Божьего, ты это знаешь, но я не слуга. Заботы службы храмовой докучны мне. И не вижу смысла в таинстве таинств, и в знаках имен, и в сочетании цифирей.

21. — Однако и ты зачерпнул таинств земли Египетской, — сказал я.

22. — Ужели и ты, Учитель, умудрялся там? — спросил Иисус.

23. — О, дитя! — рассмеялся Первосвященник. — Разве ты запямятовал, что все евреи вышли из Египта? Но путь мудрости извилист и воинственен: не похож ли Гермес Египетский на Прометея греков делами своими? Оба они подарили людям огонь небесный, и умение делать рукоделие, и выращивать злаки.

24. А поверженный Римом Зевес не превратился ли в непобедимого Юпитера? Ибо сказано: бог един, а веры разные.

25. Бог наш Саваоф причастен к превращениям, Он и громовержец, и ревнитель, и дух, и ангелы бесплотные служат ему повсеместно, и нет иных богов рядом с ним, кроме сатаны, ибо когда сказал Господь: Да будет свет! — и стал свет, и отложились тень от Саваофа, и пошла за ним, а иногда впереди его — для искушения подданных его. Когда Моисей пришел к фараону со знамениями своими, не творили ли жрецы фараоновы таких же знамений? Ибо и Моисей умудрялся у жрецов Египетских в молодости своей, но отверг премудрости их, когда превозмог их. Не так ли, сын мой?!

26. — И я люблю Моисея, — сказал Иисус, — ибо не было в нем хитрости и стяжательства, и умысел его был прям и определен, и справедлив закон его... Хорошо знал Моисей народ свой — каждого в колене каждом.

27. Поэтому закон его запрещает обычное в народе его, ибо и сам он вышел из племени Левиина, о котором сказал Израиль: орудия жестокости мечи их.

28. И не Моисей ли укорял воителей: Для чего вы оставили в живых всех женщин? Итак, убейте всех детей мужского пола и всех женщин, познавших мужа на мужском ложе, а всех детей женского пола, которые не познали мужского ложа, оставьте в живых для себя.

29. — Меня ли улавливаешь, сын божий?! — сказал ему Первосвященник. — Но я не гневаюсь, ибо знаю слова твои, и мне странно, что ты говоришь вслух истины, кои не принадлежат черни.

30. Знает ли соль, что она солонa? И не считает ли соль соленость свою уделом общим? Ибо пресное неведомо ей. Равно и любить врагов своих постыдно для соли, но крепость терпения удел ее.

31. И удивлялись ученики Иисуса и некоторые из горожан, бывших при той вечере: о чем говорят мужи святые? И переглядывались они между собой, а спросить не решались.

Глава пятая

1. И еще сказал тогда Первосвященник: знает сеятель зерна свои. Одни в землю бросает, чтобы вошли в растение, другие прорастивает в доме своем, чтобы высадить саженцами, а иные губит совсем — в пищу себе.

2. Трудное дело сеятеля того, но плодоносное. Не так ли и разумный пользуется словом своим, чтобы посеять доброе и полезное?

3. Но если сеятель тот не ведает, что возрастет из зерна его и чему должно быть саженцем, то каково имя его?

И вышел я, Первосвященник, в поле земли родной, и увидел сеятеля, и спросил его:

4. — Куда идешь ты полем этим и что сеешь в землю отцов своих?

5. Иисус же из Назарета сказал Первосвященнику следующее: — Один мудрец пришел утром в город большой и славный, вот у главных ворот драка — бьются два брата, отнимая ослицу друг у друга.

6. Вор тем временем ослицу их увел, но стражник уличил вора и прибил его насмерть мечом своим. Брат вора убитого был мытарем и прелюбодействовал с женою стражника, убившего вора того,

7. А жена мытаря спала с тестем своим за пять сиклей серебра, полученных стариком за донос на гадателя, который порочил пророка местного за мздоимство, пророк же пророчествовал по желанию Правителя,

8. А правитель угождал прихотям сына своего, — и так от дома к дому в городе том. И сказал мудрец братьям дерущимся: что бьетесь вы за ослицу вашу? Украли ее среди бела дня. Лучше нищим отдать имение свое и стать равными без вражды, чем потворствовать вору.

9. И ты, стражник, попомни: не убий, сказано в Писании отцов наших, ибо не ты дал жизнь душе этой, не тебе и отнимать ее, — будет горек твой хлеб за дела твои, но брось меч свой

и возьми глины горшечной и сотвори кувшин прочный и звонкий, и отдай кувшин нуждающимся, и золото все свое и серебро отдай и подели, чтоб у каждого было столько же, сколько у другого, чтобы мое было твоим, твое — моим.

10. А ты, мытарь, спасешь душу свою, если спасешься от жены стражниковой, чье лоно — геенна огненная. Не прощали тебе бросить деньги свои, ибо они тебе соблазн и грех, но возделай землю под виноградник и посади лозы винные, чтобы по урожаю давать сладость и веселье ближним своим.

11. И тебе, старец, грешно стяжать серебро доношением и грешно тратить серебро за прелюбодеяние, ибо золотое кольцо в носу свиньи есть женщина, а всякий грех исходит от девицы, или жены, или старухи, ибо женщины не понимают братства, и нечто делают руками своими для себя самих, поэтому сказал пророк: Человек, рожденный женщиной, краткодневен и пресыщен печальями.

12. — Скажи мне, — спросил его Первосвященник, — мудрый твой не из пустынников ли пришел в город богатый? Что ясно ему в пустыне своей, то темно для него в людном городе, ибо пустынники не имеют себе жен и не знают дел семьи человеческой.

13. Может ли отец отдать хлеб ребенка своего соседу, рядом живущему, а ребенку протянуть камень? Не будет ли сытость соседа того преступлением перед лицом дитя человеческого? Я знаю, что хорошо жить в пустыне без излишку, ибо хватает нужного, — однако и пустыня станет как город, если число пустынников станет больше десяти десятков, или введи им в пустыню девицу пригожую — тогда каждый станет красть у другого, чтобы прельстить ее.

14. Еще попомни: не было между братьями равных — не было от сотворения мира сего, но один брат всегда первый родством своим, а иной сильнее брата своего, и когда один из братьев пьет, то другой — стяжает, третий торгует, четвертый охотится, но всегда зазорно им друг перед другом.

15. Ибо сказано у пророка: Берегись каждый друга своего, не доверяй ни одному из братьев своих; ибо всякий брат ста-

нет преткновением другому, и всякий друг разносит клеветы. И другой пророк говорит: Не верь другу, не полагайся на приятеля; от лежащей на ложе твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей; враги человеку — домашние его.

16. Разве посторонний убил Авеля? Или прохожий обманул Исава? А Иосифа юного и прекрасного кто продал за раба? И если сговорились несколько в братья для себя, то вскоре завшивеют и блох разведут — и это будет их оружием против иных.

17. Стражник, бросивший меч свой, делает поблажку для вора, потому сказано у пророка: покойны шатры у грабителей. Удержишь ли мир звонким горшком? Но крепок мир, когда держит меч рука сильная.

18. Мытарь, отказавшийся от денег, не умен будет, ибо станет ли богатства для всех и каждому? Не прельстится ли имеющий чашу еще и вином для нее? И насытишь ли равным куском хлеба большого и малого?

19. Итак, стражник не мир, а меч держать обязан, и нет в нем греха при убийстве негодного, ибо для закона нет закона, а где нет закона, там нет и преступления.

20. Хороша молитва для дома молитвы, а вино годится для праздника и утоления печалей, ибо сказано: дайте сикеру погибающему и вина огорченному душой.

21. Что хорошо для одного, не есть правило для другого. И терпимо наказание от царя, которому сам вручил жизнь свою. Удостоверься: скажи притчу свою в доме родном, кто поверит тебе, знакомому сызмальства?

22. Но вот мудрый из мудрецов — он исследует писание, он терзается сердцем за народ свой. Он пророчествует, как пророк, и направляет, как Христос Божий, ибо знает он, что не примут его живого, но вспомнят о мертвом, и воскресят памятью своей, и помолятся ему душою своей,

23. Ибо не о нем ли слова: он взял на себя немощи и понес болезни. Или еще: вот муж — имя ему Отрасль, он произрастает из народа своего и создаст храм Господень. Или еще: Вот,

я посылаю ангела моего и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь.

24. Вот из таких слов складывается путь мудрого моего, и еще много слов есть о нем, и не уместятся слова эти в день один и в голову одну, но во многие годы восходят они и многим открывают сердца, а слепые прозревают.

25. Тщится тщета, а мудрый рождает мудрого. Но как от смерти, уклоняется мудрый от быстрой славы себе — он уклоняется до времени, и его время грянет — и вострубят трубы, и гром возгремит — и станет его имя известным каждому.

26. И сказано, что всему есть свое время под солнцем: время жить, и время умирать, и время вырывать посаженное до срока. И если человек ест, и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это — дар Божий.

27. И земля мудрого моего для Бога его теряет границы свои, но и за Ефратом, и за морем западным, и в краю Африканском, и за горами греческими будет жить имя мудрого моего.

28. Ибо обещано: воздвигну им пророка из среды братьев их такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему.

29. — Хмельна и притягательна чаша сия, — отвечал Иисус Первосвященнику, — но ядовита сладость ее. Кто примет ее, взалкав?

30. — Избранный примет ее, — отвечал я, Первосвященник. — Избранный выпьет ее, не хмелея, чтобы в веселии ума своего не потерять линию пути, а избиратель очистит от яда чашу эту.

31. Ибо когда взял Бог персть земную и вдохнул в нее жизнь, и назвал эту жизнь Адамом, видел ли он путь Адамов? — Видел и знал. И сын Божий принял этот путь, так как не было у него выбора — не тварь выбирает, а творец.

32. Мудрый мой примет путь, начертанный ему народом его, и посвятит себя Богу своему, и станет вестником о Боге своем до конца дней своих, ибо с тобою Бог, если ты с ним.

33. И будет он как дерево, посаженное при потоке вод, которое приносит плод свой во время свое и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет.

34. И скажет мудрый мой: Не убоюсь тьмы народов, которые со всех сторон ополчились на меня, ибо кого мне бояться? — Господь мой, свет мой и спасение мое. Но если нет в тебе Бога, то нет и спасения для тебя.

35. — Каждый сам себе Господь Бог и Христос словами своими, если он понимает мудрость свою и понимает слова свои, но во многой мудрости много печалей, — сказал в ответ Иисус. — И сильные духом признают это, а слабого губит даже первородный грех. Мне тесно слушать тебя, Учитель, так как слова твои подобны путам...

36. — Не торопись языком своим, и сердце твое да не спешит произнести слово быстрое. Кто так мудр, чтобы уразуметь мудрость свою? — пресек его Первосвященник. — Однако сказано в помощь мудрому: из сынов ваших избрал я в пророки, и из юношей — в назареи.

37. Теперь потерпи меня, я буду говорить только тебе, а когда отговорю, можешь спорить со мною, ибо избиратель нуждается в избранном и не может избрать любого.

38. Итак, видел я свет небесный и яркий, ясный среди ночи, и свет этот светил для всей земли, а на земле — всем и каждому. И внутри меня вспыхнул свет этот, так что я вспомнил слова многие и узрел приложение слов этих.

39. Не останавлиюсь теперь: премудрый выстроил сей дом, вытесал стены его — пусть избранный войдет в него, и станет дом этот храмом преклонения.

Глава шестая

1. И вышли Первосвященник и Иисус из дома мытаря, из комнаты вечери их, где остались ученики Иисуса, — вышли как бы по нужде и пришли в виноградник за домом. Белая луна сияла над горой, и листья лозы были голубыми и серебристыми.

2. — Вот чаша судьбы народа моего в руках Господа моего, и вино кипит в ней, как кровь, и Он наливается из неё, — сказал Первосвященник, — даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые.

3. — Какой властью решаешь ты жизнь мою? Что тебе до меня? И не прельщает меня пить из чаши твоей, — говорил Иисус. — Мало ли пророков в Израиле, и мало ли мудрых слов в синагогах твоих? Угодно ли подменить силу Бога твоего желанием твоим? Не так ли приходит ущерб верованию?

4. — Ты сын мой возлюбленный, — отвечал Первосвященник ему, — и жизнь моя заключена в тебе. Имеющий уши слышит, ты знаешь это. Могу ли избрать любого? Нет и нет! А старца?

5. Нет! Ибо мудрые старцы ведомы многим в земле нашей: наперечет они. Ты же как не от мира сего — из Галилеи; ты молод и сведущ в Писании, ты не похож на трудящегося и не принадлежишь синагоге.

6. Но проникновенны слова твои и удивительно народу твое врачевание, сам ты посвятил себя в проповедники, и сказано о тебе: он назореем наречется.

7. Итак, награди учеников своих именами апостолов деяния твоего, обяжи их свидетельствовать о тебе упорно и каждодневно, ибо и каменную стену пробивает бревно стенобитное. Если повторять многожды историю о тебе, то ты сам поверишь словам молвы, даже помня, что ты их сам выдумал.

8. Проповедуя, говори от имени Господа твоего, чтобы сложился образ живого святого в среде народа нашего, однако говори им иносказаниями, ибо заманчиво каждому испытать мудрость свою.

9. Оставь страхи свои — забудь о них: не причинит отец повреждения сыну своему, кость его да не сокрушится. Утоление скорбей твоих в руках Господа твоего: доверься ему.

10. Ходи в городах земли, где тебе приглянется, и живи в домах гостеприимных, но оставляй дома эти для других мест, а каждую Пасху празднуй в Иерусалиме, чтобы образ твой был повсеместен.

11. Когда учишь в синагоге, читай пророков как бы о себе самом; привлекай к себе, и отстраняй привлеченного, чтобы пропасть между вами воодушевляла его к дерзанию, ибо всякий врачеватель владеет душой больных своих, и сила его для врачевания.

12. Закон твой — лекарство для больных твоих, ибо народ без Закона — как стадо бешеное: топчут кормушки свои, рушат стойла и смертью наступают друг на друга. Но вера в Закон исцеляет душу.

13. Удели ученикам своим умение некоторое, говоря: это вам дар от Бога, чтобы верили прочно, ибо верит человек делам рук своих, но словам своим верит с удивлением.

14. Так поручив Избранному своему смысл деяния, отошел Первосвященник от дома мытарева и вернулся в Иерусалим к делам жизни своей.

Глава седьмая

1. Два года Избранный сей творил чудеса в Галилее, и проповедовал по городам как законоучитель, и в каждой речи своей хулил фарисеев в угоду черни. Слова же проповедей его соответствовали желанию Поручителя.

2. Но во второй год хождений Избранный сей вновь твердил уставы пустынников, призывая раздавать имение свое для равенства между людьми. Это было угодно черни, и многие прельщались, думая, что царствие Божие есть равенство в богатстве и звании.

3. Было так: говоря слова, Избранный сей не следовал смыслу их делами своими, напротив того, забыв о грехе, делил он постель свою с незнакомыми и насыщался вином в компании неведомых, и обеды эти походили на оргии необрезанных.

4. Было: некоторые женщины, приходившие к нему, ласками угождали ему, и он принимал ласки от них охотно, как сластена, и не отделял женщин от мужчин.

5. И роптали богобоязненные, и жаловались начальникам своим в синагоги свои, а иные упрекали Избранного в словоблудии.

6. Но посмеивался Избранный мой, говоря: еще не пришел мой час, и отцу моему еще не угодно, чтобы стал я как фари́сей, — может ли послушаться сын отца своего?

7. Не отец ли создал его для дел его? Знает отец нужды мои и даст огонь мне, и желал бы я, чтобы этот огонь уже возгорелся. Истинно говорю вам: должно исполниться сказанное обо мне: к злодеям приречен.

8. И сказали слушатели ему: — Мы слыхали много слов о многом, но глаза наши не видели дел праведных, а святые слова мы знали еще прежде.

9. И уведомил Первосвященник старост синагог своих, чтоб нашли верного человека, кто склонен жертвовать собою во имя народа своего, и он был найден среди избранных и приведен ко мне и слушал меня. — Ты горд желанием, — сказал ему Первосвященник, — а Бог наш гордых не любит, но служи Ему и станешь славным. Итак, донеси на греховность Избранного мною и укажи место наглядное для толпы, чтобы узрел народ грех чужой и не сомневался.

10. И выполнил человек этот порученное — донес правильно, а по доносу был ночью арестован Избранный мой, а некто юный бежал от стражи нагим, бросив одежды свои дозору.

11. И начальники синагог, собравшись в синедрионе, решили предать Избранного моего анафеме и запретить ему вхождение в Иерусалим, город Господень, и в землю Иуды, но пусть живет в Галилее своей с язычниками, как грешник. Но сказал им Первосвященник: Способны ли вы думать о многом? Что толку в отлучении от веры бродяги? И что за слава умертвить грешника? Но смерть праведника помнится вечно. Итак, лучше одному человеку умереть за грехи народа всего, ибо избрал Господь народ наш среди многих, а мы выберем агнца Господу нашему.

12. Отдайте пойманного наместнику, так как казнить смертью есть его право от Цезаря, а смерть Избранного от необре-
занных даст память святости народу нашему.

13. И привели Избранного моего к наместнику, обвиняя: он спал с женщиною, как с женой. И посмеялся наместник: — Что есть мужеложество в земле Израилевой? И отчего еврейские священники подглядывают в постели верующих своих? Или Бог ваш потекает сплетникам и соглядатаям?!

13. Ибо не видел греха в мужеложестве наместник римский, обычно это среди римских граждан, а женщины их любили с животными. И хотел отпустить наместник Избранного моего, как всегда отпускал к празднику Пасхи обвиненного в грехе.

15. Однако пришел Первосвященник в дом наместника Пилата и сказал тому наместнику: — Ты прав, государь, в твоих глазах нет вины на человеке том, кого арестовал дозор ночью, но не отпусти его и накажи его. Что доброго в том, что прав праведный, а наказан преступник?

16. Так делали во все времена, и у диких народов это в обычае, но в этой правильности нет справедливости. А вот накажи невинного и помилуй преступника, то дело рук твоих станет преданием в народах земли.

17. Ибо власть есть игра, а игра с жертвами — заманчива.

18. — Что ты знаешь о власти? — спросил наместник. — Чем соблазняешь?

19. — Я стар для соблазнов, — отвечал Первосвященник, но зряч еще: вижу мышцу власти твоей и понимаю силу ее.

20. — О, еврей! — махнул рукою наместник Пилат. — Нужны ли для меня слова о власти? Не я ли властвую в провинции этой? И не моей ли силы ты домогаешься? И крепка власть моя, но опора ее — осведомители. Итак, ведомо мне желание твое, но продлит ли дни твои чужая смерть?

21. — Если бы ты был евреем, — сказал Первосвященник, — ты был бы как фарисей, господин мой, ибо ты исследуешь истину и хочешь знать правду...

22. — Что есть истина?! — сказал мне Пилат. — И что есть правда для тебя, то мне ложно. Тебе нужна смерть человеческая — для чего?

23. — Я скажу тебе, не таясь, — отвечал наместнику Первосвященник, — и ты услышишь, если сумеешь. Вот мир людской: многие народы живут вокруг моря западного, и дни жизни их известны исстари, ибо величие их есть памятники городов их, а мой народ как песок, и память о нем — след ветра в песке том;

24. Живет мой народ в чужих городах, нет у него пирамид и сфинксов, нет Парфенона и нет Колизея, и противны ему идола каменные. И певцов нет в народе моем, которые пели бы о жизни народа своего, но певцы наши о Боге поют в храмах этого Бога, а пророки говорят о законах Бога нашего, и это достойно памяти во веки веков.

25. Богу нашему, а не мне нужна эта смерть. Как волчица вскормила Ромула, чтобы он воздвиг город народу твоему, так народу нашему нужна смерть праведника, чтобы жила легенда о народе нашем. Дай мне эту смерть!

26. И ответил наместник Понтий Пилат: — Я услышал тебя, старик, и понял, что мудрость твоя смертельна. Я сделаю по слову твоему, чтобы ты большей кровью не помечал идею свою. Но запиши в книги свои, что Понтий Пилат не сочувствует тебе.

Глава восьмая

1. После смерти Избранного моего ученики его — сироты его, они стали бытовать, как бродяги и пустынники, одежды носили в очередь и спали сообща в одной комнате, как спят в хлеву животные, дыша друг на друга, ибо не имели, чем платить за большее.

2. И спорили они изо дня в день о жизни своей и о силе своей или о своем бессилии — каждый час спорили ученики его, и некоторые хотели вернуться к труду знакомому и привычному.

3. И перестали ученики Иисуса напоминать народу о нем, а без напоминания не удерживается слава человеческая в толпе народа праздного. Даже больные, излеченные от недугов Избранным моим, забывали его, и смерть его стали путать со смертью грабителя.

4. Напрасно Первосвященник взывал к ним и пытался направить учеников этих говорить о их учителе и пророке, они не шли на подвиг благовествования о нем и имя учителя своего произносили шепотом, боясь смерти себе.

Глава девятая

1. Жил в Иерусалиме один тысячник из рода фарисеев, но был он гражданином римским от рождения своего — и обучен был, как римлянин, и преуспел он в науках военных, и стяжал славу воина себе, и не был лишен мудрости.

2. Был он возраста еще юного, ум беспокоился в нем, ища тайны времени и власти, и глаза его видели обратную сторону предметов. Но не было направления силе его и уму его, и он скучал и томился.

3. Однако характер в нем был прямой и решительный, навыки практические, знания глубокие, а говорил он с греками на греческом, как грек, с египтянами — как египтянин, и с персами — как рожденный персом.

4. Но закон рода своего был главным законом его души, и, живя во многих странах и во многих городах римских, не скрывал фарисейства своего. Юноша этот прибыл в Иерусалим к наместнику как сведующий в законе евреев.

5. Наместник же Понтий Пилат не нуждался в помощнике по еврейским делам, ибо не было у наместника уважения к народу нашему, и он отправил тысячника к Первосвященнику, полагая, что знание римских правил будет пользой для местного населения. — Вот еврей для евреев! — сказал Понтий Пилат.

6. — Отчего государь твой пренебрег тобою? — спросил тысячника Первосвященник.

7. Ты спрашиваешь так, Учитель, чтобы я ответил, мол, этот наместник пренебрег мною, потому что я есть один из народа, гонимого многими. Но это не так, Учитель.

8. Римское гражданство остается при мне, даже если я с нищенской сумою пойду по городам Кесаревым; и права граж-

данского никто отнять у меня не в силах, ибо проще отнять жизнь у негодника, чем поправить права эти. Однако я не у дел, мне скучно — нет войны на земле службы моей, а я — воин.

9. — Скрываешь, сын мой, — упрекнул Первосвященник юношу. — Начальник твой не любит тебя, потому что ты — еврей.

10. — Евреев никто не любит, даже евреи, — отвечал Савл. — И родитель мой был фарисеем привычки своей, считая, что всякий дом вечен, где есть уклад и порядок, заведенный предками.

11. Думаю, что деньги родителя моего направили меня в Иудею, так как родитель мой мечтает сохранить фарисейство мое в римском гражданстве: Бог даст, а Кесарь — укрепит.

12. — Ты осуждаешь отца своего, сын мой? — спросил тысячника Первосвященник.

— О, ничуть! — сказал Савл. — Но мой отец хочет соединить несоединимое.

13. Так как фарисей — раб закона своего, а римский гражданин свободен пользоваться правами гражданства и выбирать себе полезных богов, ибо «Удобство и необходимость» — закон для римлянина.

14. — Позволь мне узнать, сын мой, отчего ты не воспользовался правом гражданства своего и по приказу прибыл служить в Иерусалим? Или в земле отцов лучше сочетается закон удобства с необходимостью?

15. — Это даже не требует глубоких объяснений, Учитель, — сказал на это Савл. — Для воина есть закон дисциплины, равно для ума есть любопытство. В городах, где я служил прежде, евреи были малочисленны и для многих диковинны, как цыгане.

16. И мне захотелось узнать, как живет народ мой в своеобычае, когда иноземцы кажутся ему цыганами или варварами.

17. И увидел я народ этот в каждом дне его жизни — в трудах и отдыхе, в праздности и в молитвах требовательной веры его,

18. Ибо многие народы, в среде которых я проживал, умоляют и просят своих богов о помощи, а евреи требуют от Бога для себя.

19. Другие различия не столь существенны, так как сходства в жизни людей больше, чем различий; и одинаково восприятие доброго и злого у разных народов, ибо каждый живой, достигший зрелости, знает в себе меру злого и доброго, прекрасного и отвратительного, и ищет полезное для своей жизни.

20. — Отчего же люди эти не следуют знанию своему? Или возраст зрелости недоступен им? — спросил Первосвященник, испытывая Савла.

21. — Как вода привычна течь в уклон, так и человек совершает то, что легче ему: нищенствовать легче, чем трудиться, и красть легче, чем создавать и устраивать, а обмануть недогадливого еще и почетно.

22. Но знает укравший, что он — преступник, и нищий знает лень свою, а обманщик, стяжая себе, еще нанимает убийц в охрану свою и тщится встать в цари.

23. И поверил я, Первосвященник, в силу ума юного Савла, и открыл ему помыслы сердца своего, рассказав об Избранном моем, чья жизнь не имела цены, а смерть не принесла славы, потому что ученики его не были награждены мудростью учителя ни в половину, ни в четверть, а разве что в десятые десятых.

24. И юный Савл проникся верованием Первосвященника, но величие идеи не ослепило его, и он сказал Первосвященнику: — Сила духа вещь весьма ценная, но только для должного случая, когда условия требуют и обнажают силу эту. Но во всякой организации дел надобен расчет, и мера вещей необходима.

25. Если бы ты, Учитель, обучался в военной школе, то не случилось бы забвения с Избранным твоим. Прости мне, Учитель, но ты без вины виноват в забвении этом: ты вложил идею в слова, а слова оставил словами,

26. Так как не было плана действий для Избранного твоего, и дела твои как бы отошли от него — раздельны вы стали, и отделенный Избранный стал нарушителем закона Бога твоего.

27. Но нет такого положения, чтобы тот или иной важный случай объяснялся бы единственно и рассматривался бы односторонне, ибо для каждого проходит образ мира сего, и каждому уму хочется запредельного. Во спасение дела Избранного твоего позволь мне, Учитель, разработать строгий план и придумать тактические пути внедрения этого плана так, чтобы явная стратегия казалась бы жуткой и притягательной.

28. Сказано в Писании: нет памяти о прошлом. Мы создадим эту память: как гвоздь входит в дерево под ударом крепким, чтобы удержать дерево в нужном месте, так мы должны создать вещественные доказательства об Избранном твоём в сознании народа нашего.

29. Итак, дай распоряжение начальникам синагог твоих истязать крещеных водою во имя Христа Божия, чтобы возбудить любопытство об этом.

30. В дни праздников наших вели побить камнями на лобном месте некоторых согрешивших перед законом, но слухи пусть разносят, что сам Избранный был грешен, это даст ему ореол общности с каждым, а место лобное станет местом скорби духовной. По одному убиенному на день праздника, ибо, умиленные вином, склоняются к жалости сердца людские.

31. Верным твоим и подданным твоим, тем, кто без сомнений выполнит приказы твои, поручи говорить о тебе вздорное, ибо плебс любит хулить святых и насмешничать над величием, и даже ругается именем Бога, которому молится. Плебс восстанovit память об Избранном твоём в укор тебе.

32. И еще поручи говорить о том, что в забытом году, когда было Божье знамение — земля тряслась и раскрылась недрами, — был повешен на дереве Христос человеческий, принявший смерть за грехи народа своего.

33. Я же с отрядом воинов пойду по городам земли от Иуды до Дана и от моря до Моава, везде, где есть синагоги наши, стану ущемлять глупых и арестовывать болтливых, а упорных доставлю суду твоему.

34. И когда слухи о гонениях размножатся по домам людей и жалобы на гонения дойдут до четверовластников и до намесника римского, я изменю имя свое и стану говорить откровения о жизни Избранного, и каждый, кто видел силу наказаний моих за святость Избранного, поверит обращению моему.

35. И стану говорить так, чтоб Избранный стал любимым и единственным защитником толпы народа нашего. И чтобы случай не потерялся в кустах одной местности, разнесу страх наказания по округам и коленам Израилевым, потому что никто не знает в какой земле взойдет подобный Илии и в ком повторится дух Моисея.

35. И ушел от меня юный Савл, чтобы вершить дело свое, а я по обычаю своему и в тоске сердца своего поднялся на кровлю дома своего для молитвы и упования, ибо настало время ночное.

Глава десятая

1. Услышь меня, Боже правды моей, внемли голосу вопля моего!

Озарение мое, давшее свет надежды, померкло в борении против глупости людской, но отрадно мне, что свет этот — бежит.

2. И засветилась забота жизни моей, и в свете ее виден путь правды куда ни глянь: вот, смотрю на небеса, где означены судьбы племен и народов, там нет страха духу моему, и вижу, что правда моя права. И на земле сияет путь правды моей, хотя окружен он колючим упорством завистников и невежд.

3. Как прежде, день дню передает речь свою, а ночь ночи открывает тайнства знаний, но и ночью нет мне успокоения: как скупец ласкает злато свое и самоцветы свои, так и я изнежен мыслями правды моей, — я жажду утвердить ее повсеместно.

4. Скорбь старости окружила меня и пугает меня ничтожеством сделанного мною. Велик был замысел мой и сильна была идея моя, но что сделаешь против колеи, где привычно топчутся ноги пешеходов? Как поправить дело моё? Не знаю.

5. Уповаю на юность мудрого, молюсь упорству сильного, хочу верить чистоте сердца щедрого и строгого, однако опыт жизни моей неутешителен, и ветер времени моего шепчет,

6. Что нет меры уму и нет весов для узнавания груза веры людской, но есть много слов о делах святых и грешных — как смотреть.

7. О как легко кочует сердце мое от горечи к восторгу! — как хочет оно верить беспредельно и свято, что есть голос, понятный стадам людским: ждет сердце мое победы озарению моему.

8. Нечестивый зачал неправду и родил себе ложь — так подумал я о себе, но кто усмотрит прегрешения свои? И могла ли быть неправда в деле моем, если нет в моем озарении корысти? Что же может быть путем правды, кроме ее самой?!

9. И явился помощник ко мне, и одобрил меня, и поверил мне, ибо увидел он в умысле моем высоту мысли и взял ее мерою себе в делах духовных. Он уверовал в правду мою своим умом и не исказил правды моей. Теперь он понесет знамя правой правды по землям людей, по племенам и княжествам и за моря.

10. Я избрал Избранного ради души народа моего, но разве он не пресуществовал еще до избрания своего? В чем же может быть ложь, если нет для нее питания и нет желающих выращивать ее?

11. Я нарек Избранного моего Христом Божьим, но разве не его видели поколения поколений отцов моих и не о нем ли мечтали из рода в род?! И пророки рекли о нем и на него уповали. Так извечно: избиратель указывает на Избранного, а результат скрывается в толще народной.

12. Отрину скорбь теперь, ибо настало время надежды. Буду восхвалять Бога правды моей, которому поклонятся народы земли и примут Его в жизнь себе.

13. Я поставил завет с Избранным моим и обрел помощника себе без мздоимства. Упорен помощник мой, как ветвь молодая и мощная, как камень Сиона, как сила Божья. Я молюсь

за него, ибо знаю, что слова молитв проходят путем правды и укрываются надеждой. Да будет мудрость его притягательна! Да будет сила его ужасна, но завидна.

14. Благословен путь помощника моего от начала его, тверда поступь его, и слова его без лицемерия. И он прет мощью своей на сильных мира сего и не скроет он правды моей, ибо она есть светоч стадам людским. Не удержать его!

15. Помощник мой будет благовествовать о народе моем, из которого взошел Избранный мой, и сотворит он народу моему обновление, и это будет крепче пирамид египетских и прекрасней изваяний из камня белого, и все золото мира не окупит цены обновления этого.

16. И народ мой разрушит стены забвенья о себе и даст миру Бога своего, так что каждый из народа моего будет связан именем Бога нашего, и растворится мера скорбей каждого, распространяясь в другом человеке, месте, стране.

17. И не разграбят богатство мое, и не расхитят товары мои, и уцелеют стены дома моего, и каждая вещь в доме моем будет иметь святое место свое, и на лицах обитателей дома сего будут следы святости. И ты, о, дева, святого родишь, и дочь твоя, и дочь дочери твоей — все родят святых, — ликуй и веселись теперь, дочь Сиона! Аминь!

1983 г.

Содержание

Вследствие причин (<i>рассказ Юрия Зятюшкова</i>)	3
Простор жизни и смерти. <i>Повесть</i>	20
Осколки былого	86
1. Астральное тело курсанта Кузнецова	86
2. Сучок	105
3. Без сватовства и вдохновенья	120
4. Случай из духовной жизни.	132
5. Две сестры.	151
Евангелие от лукавого. Книга Каиафы, или АПОКРИФ.	165

Слава Гозиас

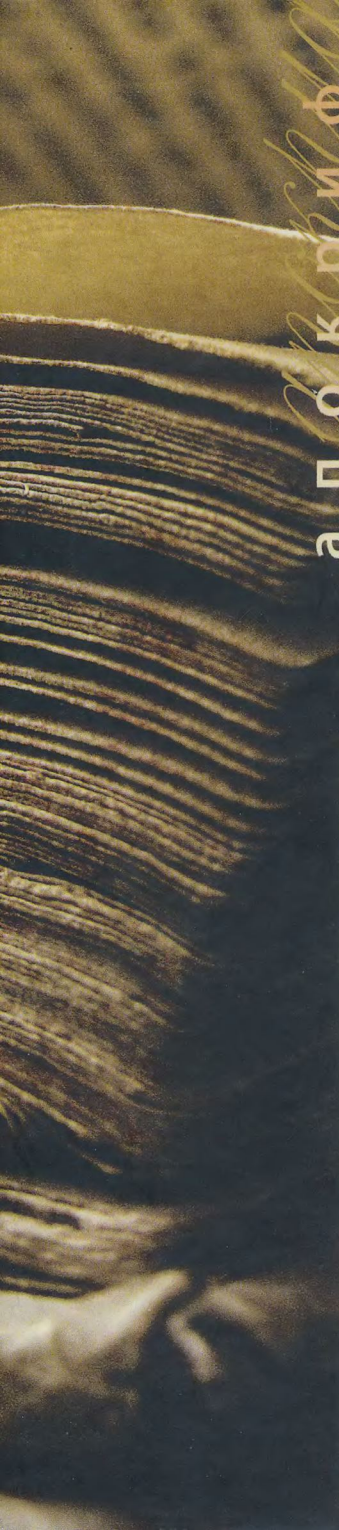
Апокриф

Повести, рассказы

*Верстка Е. В. Минина
Корректор Ю. Б. Гомулина
Дизайн обложки Е. О. Шварёва*

Подписано в печать 18.01.2010. Формат 84 x 108 ¹/₃₂
Гарнитура: Ньютон. Печ. л. 6

Отпечатано издательством «Геликон Плюс»
199053, Санкт-Петербург, В. О., 1-я линия, дом 28
E-mail: helicon@mail.ru
<http://www.heliconplus.ru>



апокриф
апокриф
апокриф

ISBN 978-5-93682-625-2



9 785936 826252